

– Ну вот и порядок, – Облегченно вздохнул Сергей Николаевич, мягко захлопнув за собой дверцу любимого внедорожника...
– Теперь, как выражается мой дружок Петуня, вперед к труду и обороне. А раз так...

И все-таки, как ни велико было его нетерпение, он перепроверил, хорошо ли уложены заранее приготовленные вещи, пакеты и сумки, не забыл ли случаем необходимые в пути деньги и документы – права, само собой, охотничий билет, разрешительные бумаги на оружие.

Все было на месте, как всегда перед выездом на охоту. Суматоха сборов осталась позади, а впереди – дорога, памятные с детства заповедные места малой родины, ночные охотничьи костры на берегах прекрасных озер, сладкая усталость во всем теле и покой в душе.

Все это будет, и, слава богу, уже сегодня, стало быть – вперед: к труду, который для любого охотника и не труд вовсе, а великое долгожданное удовольствие; ну а оборона, так это и есть оборона – от городской суеты, дотошных чиновников и кредиторов, недостроенного корпуса нового холодильного центра, семейных неурядиц, от всего что мешает человеку нормально жить.

Плавно, еле слышно урча мощным двигателем, автомобиль скатился с утрамбованного за лето газона, ласково прошелестел по опавшей листве и не высохшим с прошлого дождя лужам, попетлял по темному лабиринту спящих дворов и выехал на нужную улицу.

Было еще рано, не больше пяти, а это, по меркам начавшегося октября, – рань несусветная и темь непроглядная, однако для начала дальнего путешествия как раз то, что надо.

В предчувствии ожидаемых удовольствий, таких редких и желанных теперь, он всю ночь проворочался на жестком диване в гостиной, где устроился, чтобы не разбудить жену, но и без сна чувствовал себя необычайно легко и бодро.

Не портила настроения даже разбитая от самого областного центра дорога. Дальше она станет еще хуже, Сергей Николаевич хорошо помнил это с прежних поездок. Случались они нечасто и уже давненько, но наивно было бы думать, что за

это время кто-то ее починил. Он так не думал, был готов ко всяким испытаниям, как и его неутомимый немец-внедорожник, и даже намурлыкивал что-то себе под нос.

Между тем небо понемногу светлело, верстовые дорожные столбы, словно торопясь куда-то, дружно пронеслись мимо, все чаще на шоссе появлялись встречные машины. Еще часок – и покажется Зеленодольск, небольшой, тысяч на сорок населения, районный городок, где его уже должен ждать приятель, можно сказать друг детства, с которым столько всего перевидено-перелопачено, что в сфере бизнеса, что в охотничьих забавах. Теперь он, Семен Петрович Петухов, а по-простецки, как в детстве мальчишки прозвали, Петуня, – уважаемая в городе личность, владелец местного хладокомбината.

Комбинат – это громко сказано и, тем не менее, с недавних пор его священная частная собственность, нужная городу хозяйственно-экономическая единица, кормящая его самого и еще с десятков здешних пролетариев.

На первых порах слово «священная» он произносил заметно неуверенно, явно с издевочкой над духовными пастырями, горделиво, словно этим возвышая его, выговаривавшим именно так «с в я ш ч е н н а я», даже когда речь вовсе не шла о святейшем Синоде. Но очень скоро наш Петуня осмотрелся, пообтерся среди местной элиты, осмелел и теперь искренне обижался, когда старый другок Серега Алпатъев обзывал его к о м б и н а т непотребным словечком «морг». Да ладно бы промеж себя, а то при народе, при клиентах. Сплошной убыток рейтингу! А куда денешься, если таким неожиданным возвышением он во многом обязан именно ему? У того-то в областном центре действительно к о м б и н а т, за день не обойдешь, а тут... глаза бы порой не смотрели. Но что делать? Спасибо, как говорится, и на том.

Когда Сергей Николаевич подрулил к воротам его частной усадьбы, Семен-Петуня уже поджидал его, прохаживаясь возле своей готовой в дорогу «Нивы». Новой, забугорной техникой, по крестьянски прижимистый и разумно-экономный, он все еще не обзавелся, а к российскому автопрому привык, хорошо знал его, что же касается «Нивы», то ставил ее выше многих ныне вошедших в моду чужестранок вместе с безудержными восторгами перед всем иноземным и трогательным стыдом за все родное, пусть и неказистое, но надежное.

Алпатъев, знавший его с детства и особенно близко изучивший за годы совместной работы в колхозе, где вся техника была в их руках, ценил в нем эти качества и частенько поругивал себя за свое мальчишеское тщеславие и глупое расточительство. Петуня снисходительно усмехался, рисуется, мол, товарищ, туману напускает, и в то же время понимал, что в городе среди больших людей тому иначе нельзя, рейтинг фирмы требует, и в свою очередь подтрунивал над своей неискоренимой деревенской простотой.

Как всегда при встрече, обнялись, похлопали друг друга по спине, потоптались, точно борцы на ковре, присели на лавочку у калитки:

– Ну, вот и собрался, наконец!.. А то все – дела, дела. А что – дела? Все их все одно не переделаешь, надо оставить и другим.

– Кому это – другим?

– Ну, тем, кто после нас будет. Сын-то у тебя, Никита Сергеевич, поди уж совсем мужик стал? А вот у меня одни девки.

– Так что если девки? Хотя...

– Правда, пацаны нынче пошли тоже не сахар. Подай им то, подай это... Ничего – сами... Какой народ из них вырастет, господи?

– Да, соблазнов много: пиво, травка, а то и кое-что покрепче, дискотеки, ночные клубы, мат-перемат... Но мой пока – слава богу... от телевизора и компьютера не

оторवेशь. Дома все... В школу – из-под палки... Ни до чего дела нет... И такие придут после нас?

– Не придут – сами на своих рученьках принесем...

Помолчали, покурили.

– Однако, пора. К утренней тяге поспеть бы...

– Ну, тогда по коням!

– Вперед, к труду и ...

– И к нашим Старым Палям!

Старые Пали – старинное село, их родное гнездо. Когда-то, века три назад, или еще раньше, сюда, в безлюдное лесное Предуралье, спасаясь от помещечьих и религиозных притеснений, стали просачиваться крестьянские ватажки из центральных областей коренной Руси. Облюбовав для себя укромные уголки девственной глуши, богатой лесами, рыбными реками и озерами, дорогим пушным зверем и рудами, принялись строить заимки, обихаживать выпасы, валить лес. Добротные лесины, пригодные для всякого строительства, использовали по потребности, а остававшиеся сучья, вырубленный подлесок, подгнившие или поверженные наземь бурями деревья равномерно разбрасывали по образовавшейся пустоши на просушку, а потом разводили большие костры и пускали пал. Так появились тут первые п а л и, участки, отвоєванные у леса под пашни.

Заимки росли, поля расширялись, а когда земля истощалась, люди перебирались в другие леса, а иногда и края – за Урал, в Сибирь, на Алтай, Амур, к Океану.

Месту, где укоренились и разрослись нынешние Старые Пали, повезло на упорных и рачительных людей, глубоко, до самого сердца тронутых красотой и щедростью этого края. А чтобы земля не уставала лишь отдавать, научились воздавать ей ответно – и навозом, скопленным за зиму в хлевах, и древесной золой из печей, а уж про поклоны, благодарственные песни и молитвы и говорить излишне.

Оба они – и Сергей Алпатьев, и Семен Петухов, коренные старопалевцы, – прикипели к этой земле, казалось, на всю жизнь. И в самом деле – зачем искать счастья где-то на стороне, если своего столько, что хоть пей его, хоть в кузовок, как сочный груздь, укладывай, хоть красным, золотым словом в песню влетаи. Вот и пили, укладывали, влетали, – на всех хватало!

Бывали, однако, времена, когда и сюда навевывались всякие беды. На долгие годы вырывала из мирной крестьянской жизни мужиков царская рекрутчина, выкашивали бесконечные войны. Один двадцатый век с его двумя мировыми и гражданской чего стоит! А ведь были еще и трудовая армия, и мобилизации на восстановление разрушенных городов, и всякие великие стройки. Но куда бы ни забрасывала земляков судьба, отовсюду, покалеченные и обескровленные, уже, казалось, ни к чему не пригодные, тащились они в свои Старые Пали, чтоб хотя бы умереть по-людски и на веки вечные лечь в родимую отчую землю.

От Зеленодольска до своего села (не в мыслях уже, а неосознанно, в самых глубинах души все еще с в о е г о!) верст под сорок. Это в хорошую погоду да на ходких колесах. Иное дело и иной счет зимой и особенно в долгие сырые осени, когда самый верный транспорт – собственные ножи или, если подфартит, ноги коня.

У них были свои – железные – кони. Со множеством лошадиных сил в каждом моторе, считай – целые конские табуны. И все-таки у старого покосившегося дорожного знака «К/з Приозерный» остановились, задымили сигаретами.

– Как думаешь, за час доберемся? – глядя в сторону, куда указывала стрелка, спросил Алпатьев.

– Не знаю, как твой хваленый «немец», а за свою «Нивушку» я готов поручиться!

– Не хвались, идя на рать... А в село заезжать будем? Может, сразу на озера?

Петухова, по всему, устраивало и то, и это, однако счел уместным заметить:

– Я только на минутку. Матушку вот проведу, припас кой-какой ей оставлю.

А ты прямо к Скиту правь. Там и обоснуемся.

– Можно и так...

Сергей Николаевич хотел еще что-то сказать, но спохватился и торопливо захлопнул дверцу кабины. Дело в том, что здесь все еще жил его одинокий престарелый отец, старый деревенский учитель, а он вспомнил о нем лишь тут, на околице.

Нехорошо стало на душе у Сергея Николаевича: то ли от жалости, то ли от стыда, перед товарищем: ведь он о своем отце даже не подумал. Казалось бы, какой удобный случай – и поохотиться, и отца проведать, привезти городских гостинцев, рассказать о здоровье, житье-бытье. Так нет же, опять забыл, не додумался, не вспомнил. А Петуня-то, а Петуня...

От прежних проселочных дорог теперь мало что осталось. Через каких-то пять лет после ликвидации колхоза! Все заросло травой и бурьяном, а уж о полях и говорить нечего, – да ладно бы еще травой кормовой, покосной, так нет – все осот, молочай, чертополох, кое-где виднеются зеленые кулижки пырея, в низинках – заросли люпина и иван-чая, джунгли лебеды и лозняка.

Сергей Николаевич знал в «Приозерском» хозяйстве каждое поле – и верхние, где начинался плавный уклон к озерам, и нижние, доходившие до самого их берега. Верхние традиционно отводились под зерновые, нижние – под овощи. Но самые большие поля располагались к северу, на просторной всхолмленной равнине, отгороженной от соседнего хозяйства живописным отрогом одного из многочисленных уральских хребтов. Неужто и там все в таком же запустении?

Сергей Николаевич давно заметил странную на первый взгляд картину: вдоль всех главных дорог области земля почти нигде не пустовала, на полях, как и в прежние годы, трудилась привычная техника, в то время как в таких «углах», как эти, все словно обрушилось и обезлюдело. Почему так? Не потому ли, что по тем дорогам ездит большое начальство, а у него должно быть хорошее настроение и такое же хорошее мнение о нем еще большего начальства? Выходит, что так. Прав, выходит, Семен-Петуня с его заботой о рейтинге. И придумали же эти хитрованы для себя такое словечко!..

Машину отчаянно трясло, бросало из стороны в сторону, отчего даже такой надежный конь, этот могучий немецкий внедорожник, стонал, кряхтел и жаловался на свою судьбу. Алпашев сообразил, что, задумавшись, потерял бдительность и угодил на злосчастный кочкарник и что Скит, где они должны встретиться с Петуховым, остался в стороне. Пришлось остановиться, чтобы оглядеться и притушить разгоревшиеся воспоминания. Он всегда гнал их от себя. Они мешали ему жить. А жить хотелось. Особенно теперь, когда все, кажется улеглось, растряслось, потекло по новой колее. Пусть будет так, как будто ничего не было. А если и было, то прошло. Пусть...

Над головой с веселым криком пронеслась в сторону озер стая уток, и он окончательно вернулся в сегодняшний день. Вырулив на сухое ровное место, заторопился обратно. Ага, вон он и Скит! А там уже и «Нива» Петуни стоит, и сам он тут же, разгружает свой багажник, то и дело поглядывает в сторону бывшей дороги, ждет его.

– Вот видишь, я же говорил, что моя «Нивушка» никакому забугорному жеребцу не уступит. Вот и твоего осрамила! Где пропал?

Отвечать не было ни времени, ни желания: озеро рядом, носившиеся над ним утки будоражили сердце охотника, подхлестывали пробудившееся нетерпение и азарт. Разбросав привезенные из дому сумки и пакеты, Алпашев выхватил из кабины одно из ружей, закинул за спину тяжелый рюкзак с резиновой лодкой и, крикнув напарнику что-то нечленораздельное, кинулся вниз, на птичьи крики, на зов удачи.

Озеро понизу окаймляли густые заросли ивняка и ракитника, но Сергей Николаевич еще с прошлых лет хорошо знал и теперь легко находил в них свои тропы и лазы. Вскоре они вывели его к самому урезу воды, тихо плескавшейся в низкий, поросший все еще зеленой осокой берег. В первые мгновения он слышал только этот плеск и недалекие утиные вскрики. Яркий неожиданный свет взошедшего солнца, помноженный на зеркальные отблески озерного стекла, ударил по глазам, ослепил, залил неудержимыми слезами. Слезами счастья, на которые внутри него отозвалось что-то сладкое и полузабытое, как детство: господи, я снова здесь!..

Проморгавшись и приуныв не в меру разыгравшееся волнение, он разглядел наконец край озера с табунками кормящихся уток и пожалел, что опоздал к их прилету, потому что в сидящую беззащитную птицу стрелять не любил. Другое дело – бить влет, когда стая летит прямо на тебя и вдруг, увидев, кидается в разные стороны.

О, тут нужен не только верный глаз и отличное оружие, тут необходимо и с к у с т в о, спортивное мастерство! А так – палить в неподвижную, словно заранее выставленную мишень, любой пацан сможет. Для этого не нужно мчаться за сотни верст, ждать счастливого мига неделями и месяцами, не спать ночами, а если и спать, то видеть в снах вот такие озера, такое утро и летящие на тебя стаи. Для этого в городе есть тир: плати и стреляй себе в кого хочешь – в утку ли, в волка ли, в тигра... И не бойся, что промажешь – они жестяные, безопасные..

Неподалеку нетерпеливо – один за другим – прогремела пара ружейных выстрелов. Вот и Петуня не стерпел, определил Алпатъев, этому в самый раз когда птица на воде, набьет полный багажник, охотничек.

Встревоженное озеро мигом ожило криками и хлопаньем крыльев множества птиц. Отдохнувшие за ночь и подкормившиеся, они спешно покидали приютившее их озеро, собирались в небольшие стаи, чтобы продолжить свой традиционный осенний перелет. Весной неистребимый, непонятный оседлому бескрылому человеку зов повлечет их обратно. Все ли они снова увидят эти озера, ведь на земле сегодня так много стреляющих ружей и азартных охотников?

Сам он весеннюю перелетную птицу не бьет. Для него это все равно что убить изнуренного долгой дорогой путника на пороге родного дома. Другое дело – тетерва. Но тех в здешних местах мало, их излюбленные боры ныне повыврублены, а до горных лесов далековато, не вдруг соберешься, поди.

Не любитель он бить и всякую полевую да болотную мелочь. Комочек жизни в перышках, зачем ее губить? Ведь никакого в них прибýtка тебе, нечего на зуб положить, скорее дух один, чем реальное существо. Однако в прежние времена такую охоту у нас любили. А еще раньше на княжеские пиршеские столы подавали не только вепря, гуся или зайца, но и запеченных целиком журавлей и лебедей, голубей и жаворонков. Прочитаешь о подобном книгу классика и за голову хватаешься: никак на Руси чуть не каждый год голодным был? Или совсем люди совесть потеряли, – на святое, считай, руку подымать?

Нет, такого непотребства Сергей Николаевич себе не позволял. Совсем иное дело – завалить в берлоге лесного дедушку медведя, перехитрить сильного и умного противника волка, достать дружеской компанией матерого лося. Все это уже не раз испробовано и, даст бог, не в последний раз..

К Скиту Алпатъев вернулся нескоро и без трофеев. Петуня не удивился, лишь насмешливо стрельнул в его сторону белесыми выпуклыми глазами и бодро доложил:

– Обед готов, уточки что надо. Сейчас испробуем для начала. Чуешь дух от котла какой!.. Ну и зараз сезон освятим... Ты чего такой снулый сегодня?

Семен Петрович весело катался на своих коротких ножках между костром и уже собранным походным столиком, все хвалил – и погоду, и охоту, и свою несравненную «Нивушку», и себя, такого удачливого, заодно.

Сергей Николаевич действительно выглядел сейчас несколько «снудым», но не по причине неудачи на охоте, а от умиротворенности и переполненности тихим сладким счастьем, какое нисходит на человека, долго пропадавшего на чужбине и вдруг оказавшегося на родине.

Петуне проще – райцентр, до которого отсюда всего каких-то полста верст, считай что рядом, и бывает он здесь частенько. Да и по характеру он человек простой, которому везде хорошо, где, как он смеется, нехорошо не бывает. Бывший колхозный механизатор, а потом завгар, он не чурался никакого дела, довольствовался малым, но своим, добытым собственными руками; не завидовал тем, у кого высокий чин и толстая мошна.

В богатые он вышел неожиданно для себя, и не из корысти и жадности, а из крестьянской нетерпимости. Когда темные силы из своих потайных щелей пробрались в самые державные верха и все посыпалось, когда самыми почитаемыми людьми стали рвачи, пьяницы, воры и лодыри, не ленившиеся лишь кричать и махать кулаками, тогда это и случилось.

Колхоз раскулачили не менее зло, чем когда создавали. Рушилось и попиралось все, чем еще недавно гордились, – свое, кровное, народное. Надо было спасти хотя бы главное: технику, фермы, семенной фонд. И они спасали. Кто? Как? О, это большой разговор! И не для всяких ушей, не для всяких адвокатов...

После неспешного обеда под ласковым солнцем последних дней бабьего лета обоих стало приятно томить и клонить в сон. В старом черном покосившемся Скиту, в котором когда-то тихо жила семья староверов-скитальцев, на этот случай имелись просторные сколоченные кем-то из рыбаков или охотников лежаки. Как сели, как повалились, так и выпали из этого мира. А когда вернулись, солнце уже перешло на другую сторону поляны и наколосилось на острую вершину чудом уцелевшей здесь ели, – все равно что последнее яблоко в осеннем саду.

Пора собираться на вечернюю тягу. Но сначала – чай. Горячий, черный от обильной заварки и непременно с двойной порцией сахара. Чтобы в голове прояснилось, чтобы из глаз ушел туман. На охоте, как известно, необходимо не только доброе ружье, но и ясная голова, острый глаз и бодрое, веселое настроение.

Спешно убрав за собой, отправились снова попытать охотничьего счастья. Петухов – в свою засаду, Алпатьев – в свои места, облюбованные им еще утром, когда с утками ему не повезло. Находились они далековато, на самом краю озера, но зато позволяли еще издали видеть приближение стай. Заходя на воду, они непременно окажутся над его головой, и тогда он успеет прицельно разрядить оба ствола, а подбитые птицы упадут или на берегу, или недалеко от него, где мелко и их можно будет взять, обойдясь без лодки.

С каждой выкуренной сигаретой все заметнее вечерело. Воздух посвежел, с озера потянуло зябкой сыростью. Легкий ветерок мягко шуршал в зарослях высокого сухого уже камыша. Перезревшее яблоко солнца сорвалось с ели и упало в чьи-то ладони за горизонтом.

Первая стая появилась неожиданно, застав Сергея Николаевича врасплох. Но следующую он встретил прицельным огнем, и два прекрасных селезня упали почти к его ногам.

Потом были еще стаи, воздух над озером буквально кипел от обилия птиц, от их то радостных, то испуганных (после выстрелов) криков, от хлопанья сотен и тысяч крыльев и плеска воды, принимавшей на ночлег новые партии гостей.

Собрал в ягдташ добычу, он мог бы уже с легким сердцем вернуться в Скит, но все медлил. Утки все летели и летели, распалившееся сердце азартно-требовательно клокотало в груди, руки самопроизвольно загоняли в стволы новые патроны и скидывали ружье, но загнанный в угол разум плескался оттуда своей ледяной водой, охлаживая и усмиряя бушевавшую страсть.

Так на удачной охоте с ним бывало всегда: азарт требует своего, рассудок – своего, чьим-то знакомым голосом, похожим на голос отца, укоряет: зачем, мол, тебе столько, посовестись, укроти дурную кровь, постыдись Бога. Не ты один жить хочешь, всем крылатым ли, бескрылым ли жизнь дорога. Ибо, как и у тебя, единственная. Ни у кого про запас второй нет.

Успокаивался он долго и трудно. Без плоской фляжки во внутреннем кармане плаща не обходилось. Поднес и теперь к губам и забыл для чего: все с той же северной стороны в густеющих сумерках вечера на него наплывало какое-то светлое колышущееся облачко. С каждым вдохом и выдохом оно все разрасталось, все белело, и вот так знакомо, по-домашнему загоготало.

Он перестал дышать. Гуси!.. Дикие гуси!.. Ружье словно само собой вскинулось к небу, дважды польхнуло оглушительным огнем, потом еще раз, и четыре белых гуся тяжело упали на берег, неподалеку от воды. Надо подождать, ведь будут еще! Но голос отца сурово пресек – укроти дурную кровь, посовестись. И ружье повиновалось.

Ох, отец! Как часто тот вот так вставал между его желаниями (а частенько и прихотью) и долгом, совестью, человечностью. Сын покорялся отцу пока был молод и пока случалось это по делам малым и сносным, но потом... Потом он женился без его одобрения, а когда стала рушиться прежняя жизнь, твердо, до полного разрыва настоял на своем. С той поры они почти не виделись. По крайней мере он избегал его, чувствуя себя виноватым. Однако и оправдывал себя: время такое, он хотел как лучше. Может, не все сумел, но хотел. И не он один... Проведать бы: поди, успокоился же. Да и я, может быть, с тех лет малость поумнел...

Почти всю вторую ночь охотники провели у костра за пиршеским столом. Ели молодого гуся, наваристый горячий бульон чередовали с родными российскими сорогоградскими, вспоминали прежние охоты в этих же богом данных местах, даже пробовали петь популярные «песни о главном».

Расчувствовавшись, Сергей Николаевич настолько распахнул душу, что впервые, не таясь больше, обнажил все ее болячки и занозы. Петуня молча слушал и участливо кивал головой, в чем-то, может, и не соглашаясь. В семье нелады? Ну так это же семья, добрых сердечных жен сейчас – штуками считай; сыну ничего, кроме компьютерных стрелялок, не надо? – так это еще не беда, настоящие беды впереди; другое дело – затянувшийся раздор с отцом. С отцом, которого он любит и перед кем виноват.

Как вернуть его доверие и если не любовь, то хотя бы понимание? Сколько ни пробовал объяснить – ничего не получается, а после того, как побывал в его городской квартире и напроочь отказался жить вместе, совсем замкнулся в своих Старых Пялях.

Тут, правда, Зинка гордость старика подогрела, поместив его не вместе с внуком, а в тесной кладовке, где ни окошка, ни полки для книг. Напрасно он объяснял отцу, что это временно, что скоро сдадут элитный дом, куда они переедут в большую современную квартиру, что в их брошенной деревне в холоде и голоде он один долго не протянет... – нет и нет. Бедует теперь, поди, а голоса не подает!

– Раз уж мы здесь, давай завтра его и навестим, – предложил прямодушный Семен Петрович. – С гостинцами, с бутылочкой... чего воду в ступе толочь? Ага?

– Хорошо бы... Ты ведь к матери еще заедешь?

– Ну! Согласен?

– Эх, утро вечера мудренее! Давай соснем хоть часик, а там и...

– Да, скоро уже засветает, а мы с тобой, паря... Завтра не то что в утку – в корову не попаду...

– Не надо в корову, Петуня... Пусть живет...

– Спать так спать...

На рассвете вскочили разом: охотничий сон краток. Быстро оживили костер, долго с прихлебами и пристонами пили крутой свежий чай. Опорожнив одну кружку, принимались за другую. Наконец в голове прояснилось, в телеса вернулась обычная бодрость, можно и выступать.

Первым изготовился Петухов.

– Может и мне повезет пару гусakov свалить. Ты, Сергей Николаевич, где вчера своих взял? У меня гусей не было.

Алпатьеву не очень-то хотелось выдавать свое счастливое место, но что с ним поделаешь, ему ведь тоже страсть как хочется отличиться.

– С севера к озеру заходи. Там, где прежде водопой был. Ивняк там редкий, далеко видать. В самый раз успеешь изготовиться.

– Ну?! – то ли обрадовался, то ли засомневался Петуня.

– А ты сам рассуди: откуда и куда птица летит? Верно, из северных краев своих. И, тоже верно: на свои юга, в тепло зимовать. Все просто!

– Ну, далековато, однако.

– А ты прямо сейчас и выступай, успеешь. А я... о чем я хочу попросить тебя...

Сергей Николаевич вдруг смутился и виновато развел руками.

– Не смогу я к отцу сегодня, друг ты мой. Не готов... Да еще в таком виде. А тебя попрошу... все, что я тут настрелял... завези ему заодно. Будь добр...

– Понимаю... Исполню.

– Скажешь... ну придумай что-нибудь... Машину, мол, чинит, заедет в другой раз. И вообще... как он там, здоров ли? В чем нужда? Ты же не маленький, все понимаешь. А я пока по нашим полям проеду, соскучился.

– Это в тебе все еще крестьянин живет. Ну, я пошел...

Ободренный надеждами на удачу Семен Петрович ушел, а он походил вокруг Скита, дождался, когда совсем рассветет и взойдет солнце, посидел в своем «немце» и направился поглядеть соседние озера. Былые дороги заросли, но он хорошо помнил, где они были когда-то, и вел машину по краям бывших полей. Хорошо помнил потому, что с десяток лет после окончания сельскохозяйственного института в областном центре начальствовал над всей артельной техникой, часто выезжал к механизаторам во время весенне-полевых работ и тем более в уборочную страду. Его еще в школьные годы можно было увидеть и за рычагами трактора, и в пыльной грохочущей кабинке комбайна. Теперь он вспоминал об этом как о лучшей поре своей молодости, которую уже никогда не вернуть.

А вот озера были все так же прекрасны. Их было несколько, вытянувшихся в длинную сине-зеленую цепочку. Учитель географии, водивший сюда ребят на экскурсию, утверждал, что когда-то, много тысяч лет назад, это была большая река, питаемая тающими уральскими ледниками. Долго таяли ледники пока не исчезли совсем на отогревшейся после оледенения земле, ну а река пересохла, оставив на память о себе эти озера.

Между Круглым и Солнечным озерами, отделяя их друг от друга, как каменистым мостом, возвышалась нерукотворная перемышка. По ней старопалевцы ездили на ту сторону за дровами и на лесные покосы. На низменном берегу Солнечного стояла гусиная ферма, которую с таким же успехом можно было бы называть и утиной, так как и той, и другой птицы здесь было великое множество. Черный скелет строения

еще удавался в зарослях бурьяна и камыша, но на озере ни единой птичьей души. Словно по примеру диких своих сестер поднялись и улетели в дальние края.

Лиственный лес, росший понизу, с подъемом берега незаметно перешел в сосновый бор, теперь изреженный и захламленный. Сразу видно, какого пошиба лесозаготовители расправились с ним. А вот пошли дубняки. Те пострадали поменьше, лишившись в основном годных в дело прямых и высоких лесин, которых на продуваемом всякими ветрами косогоре было не много.

А вот и деревушка Дубрава. Маленькая, уютная, чистая. Сколько раз Сергею Николаевичу ни приходилось бывать тут, ему всегда казалось, что населяют ее одни старики и старухи. Теперь увидеть старика не удавалось, но старухи, слышав его машину, дружно расселись по лавочкам, смотрят из-под ладошек, шепчут что-то беззубыми ртами.

У последней избы, опираясь на сучкастый посох, к дороге вышел невысокий, белый как лунь дед. Сергей Николаевич остановил своего «немца», вышел, пожал старческую костлявую руку.

– Ну, как жизнь, отец? Закурить?

Старик неприязненно нахмурился.

– Чего по нашим грязям в такой блестящей таратайке катаешься? Купить лошадь не можешь? Верховую, под седлом.

Алпатыев, сдерживая улыбку, по-дружески похлопал его по плечу.

– Спасибо, дедушка, за совет. Вот деньжат поднакоплю и непременно куплю. А ты чего хотел?

– Спички вышли. Не выручишь?

Сергей Николаевич пошарил по карманам.

– Вот зажигалка. Новая, надолго хватит. Может, еще чего?

– Патронов бы. Всего три. Ружжо у меня имеется, а стрельнуть нечем.

– На охоту – с тремя патронами? – рассмеялся Алпатыев. – Да на ваших озерах сейчас столько птицы, что только стреляй да стреляй. Мешка не хватит.

– Не на охоту мне, веселый человек. Мне для залпа. Вчера хозяйку похоронил. Вмestях воевали, до Одера дошли. И всю жизнь вместе. Обидно без залпа-то, фронтовичка как-никак. Извиняй, коли что.

От удивления Сергей Николаевич даже отступил на шаг, покачал головой, озадаченный. Решение пришло само собой.

– Бери-ка, дедуна, свое ружье, вместе залп дадим. Вот прямо сейчас. Все для этого у меня есть. Это ты просто замечательно надумал, фронтовик. Прямо сейчас...

Вскоре над тихим, заросшим бодяком, крапивой и вездесущим тут иван-чаем кладбищем прогремели три ружейных залпа. Удовлетворенные совершенным, стрелки крепко обнялись. Приложились к плоской металлической фляжке и обнялись еще раз.

Старик плакал, не отирая лица. Алпатыев порылся в машине, достал весь немалый оставшийся после охоты запас патронов, поднес бывшему фронтовику. Тот принял без возражений, почти машинально, вряд ли понимая, что у него в руках, потому что находился сейчас не здесь, а где-то далеко, на пути к злой немецкой реке Одер, где, не стихая, гремела война и где они, две любящие молодые души, были такими счастливыми...

По мере того как склон поднимался все выше и ближе к хребту, леса уходили на юг и восток, открывая взору просторную слегка всхолмленную равнину. Тут находились главные поля бывшего колхоза, тоже теперь запущенные и одичалые. Только в одном месте радовал глаз клин зеленого, уже прилегшего клевера-многолетника. Значит, тут и ферма, молочно-товарная, теперь тоже уже бывшая. А вон за той то-

полиной полосой – деревня Добродевка. Все еще маленько живая, удостоверяя это несколькими дымящими трубами.

Корпуса фермы напоминали картину, какую оставляют после себя войны. Следов пожара видно не было, но ворота сорваны, окна выбиты, над темными неживыми стенами вкривь и вкось рыбьими ребрами топорщатся пока еще не свергнутые стропила, ограда порушена, навозные кучи, так и не вывезенные на поля, все в могучих зарослях лебеды и чертополоха.

– Ну что, любишься? Любишься, любишься! Твоих рук дело, поганец. И катись-ка ты отсюда, вражья душа, чтоб и духа твоего тут не было. А не то кликну Талалая, а уж он...

Перед ним, размахивая руками и топоча от негодования ногами, возвышалась рослая и еще недавно красивая баба, лучшая в хозяйстве доярка. Кровь прилила к его лицу, но вступать в разговор не было смысла, он сел в машину и так резко рванул с места, что ошметки грязи из-под колес взлетели выше отпрянувшей крикуньи.

Остановился и перевел дух он уже на Чудном кургане, верст через пять. Ничем особенным курган этот не чуден, но, говорят, когда-то здесь жил народ со странным для сегодняшнего слуха названием – чудь. В нем эти «чудики» хоронили своих вождей и жрецов, на нем у тысячелетнего дуба молились своим богам. А потом вдруг исчезли, словно ушли под землю.

Так говорит молва. А вот его школьный учитель истории утверждал совсем другое. Мол это курган, оставшийся здесь после перехода через Уральские горы несметного воинства великого Тамерлана.

Издалека, ох, из какого далека, делая вид, что мирно кочует со своим народом, явился в Уральские степи этот грозный и жестокий полководец-эмир, создатель среднеазиатского государства со столицей в блистательном Самарканде. Иран, Закавказье, Малая Азия, Индия дрожали при одном его имени. Их народы становились его рабами, а города, богатые и славные на весь Восток, будто сами собой рассыпались в прах.

В этот далекий и многотрудный поход, прикинувшись мирной лисой, он отправился с единственной целью – уничтожить наконец этого обезумевшего от зависти Тохтамыш, хана Золотой Орды. А вместе с ним и саму Орду, столько лет портившую ему кровь своими мелкими укусами и гадкими пакостями.

Когда Урал и мирные кочевья башкурдов остались позади, таиться далее уже не было надобности, и Тамерлан обрушился на Золотую Орду смертоносным ураганом. На берегах великой Волги и маленькой впадающей в нее с левобережья речки Кундурчи произошло генеральное сражение двух огромных армий. Разбитый в пух и прах Тохтамыш бежал на восток, а отряды победителей принялись уничтожать его города и селения – от Северного Кавказа до Средней Волги, чтобы лишить Орду самой возможности возродиться в прежней силе. После такого погрома раздираемая внутренними потрясениями Золотая Орда быстро покатила к упадку и своему бесславному концу.

Впрочем, может быть, неправ был и учитель. Откуда вдруг взялось столько убитых, если до боев дело еще не дошло? Да и не хоронили мусульмане Тимура своих покойников под такими рукотворными горами, здесь и естественных хватает. А может, и этот курган, называемый в народе попросту – Шишкой, такая банальная шишка и есть, а молва об ушедшей под землю чуди – всего лишь причуды народной фантазии? Кому не хочется прикоснуться хоть к чему-нибудь чудесному? Какая жизнь без чудес? Народ сам по себе тоже великое чудо, но он об этом почему-то даже не подозревает...

Алпатъев сидел на кургане, выкуривал одну сигарету за другой и ни о чем не думал. Вернее сказать, казалось – не думает, не замечая того, что мысли, такие разные, такие неустойчивые и неожиданные, как летние бабочки, кружились и порхали в его

голове, легко возникали и, не связанные друг с дружкой, так же легко пропадали, переходя в нечто совсем неожиданное и новое.

Под конец он понял, что эти мысли, эти бабочки-однодневки все-таки были не случайными и куда-то его влекли. Недавно на всю страну прогремела новость: в Зауралье археологи раскопали загадочные древние города, которым, трудно представить, целых три-четыре тысячи лет. Сантышта, Аркаим... Седая-преседая древность! Там, наверное, тоже были свои «курганы» и «шишки». И свои исчезнувшие народы... Разузнать надо, интересно. Это тебе не какая-нибудь порушенная ферма, не растаявший горный ледник, а, может, важная ступень всего человечества, следы наших далеких предков...

Пора было возвращаться в Скит, собираться в дорогу. Поднялся, размял застывшие от долгого сидения на холодной земле ноги и нехотя сел за руль. Почувяв хозяина, послушный «немец» плавно покатился под гору. Но ехать через село не хотелось, свернул на бывшую полевую дорогу и, миновав последние задворки, вскоре оказался на месте.

Семен-Петуня уже уложился и терпеливо поджидал его. Ни о чем не спрашивая, предложил:

– Обедать будешь? Проголодался, поди, а дорога у тебя подалее моей.

Сергей Николаевич что-то пожевал, запил теплым чаем и только тогда спросил:

– Ну как, повидал? Как он там?

Это – об отце.

– Не нашел я его, извини. Сказали, что в музее своем пропадает. Ну, я туда, но и там нет. Ходит, значит, по дворам, всякое старье бытовое собирает. Он ведь решил музей создать.

– Что за музей?

– А погибшей деревни нашей.

– Почему же погибшей? Старые Пали, конечно, старые, однако...

– Однако больше мертвые, чем живые. Через пять пустых дворов один еще теплится. В самый раз о музее порадеть. Молодец наш Николай Николаевич, далеко глядит: посмотрите, мол, люди добрые, на дело рук своих.

– Кому же тогда смотреть, если так?

– Ну, хотя бы проезжим. В доме бывшего школьного интерната – музей. Дом каменный, еще крепкий, сам музейный экспонат, долго простоит.

– А что старик Жук скажет? Это же его фамильная недвижимость. Взъярится, небось.

– Знамо дело – взъярится. Только дом-то покрепче его, переживет и этого хозяйина. Сколько их уже было?

В начале тридцатых, в самый канун коллективизации, хитрован Онуфрий быстро смекнул, что ему грозит, и послушно свел на общественные фермы излишек домашнего скота, а запас зерна сдал в фонд голодающих. Тем и откупился. Выселили его семью по-людски, обошлось без тюрьмы и лесоповала, а ведь могло бы – ого-го!

После сокрушительного разоблачения генсеком Хрущевым культа личности Сталина часть этой семьи, получив послабление, вернулась на родину: сын Онуфрия Анисим, его старая мать Акулина, жена Ксения и дочь Зинаида. Остальные или остались на месте прежнего поселения (и там места были привольные!), или разъехались кого куда позвала душа.

Все бы хорошо, да сам Анисим уже старик, а дом передан школе под интернат для ребят из отдаленных деревень, учившихся в здешней семилетке. Пришлось удовлетвориться пустующим домом, предложенным им сельским советом. Временно, решил Анисим и оказался прав: после нового переворота и возвращения прежних порядков

бывшие репрессированные получили право получить обратно свою сохранившуюся недвижимость. Дом сохранился, но пока существовала школа поселиться в нем было невозможно. Ну а теперь, когда и школы не стало, час Анисима настал...

– Так вот, Сергей Николаевич, все, что ты велел, я занес ему в прихожку – дверь-то он не запирает. Ну, спичек еще положил, соли...

– Спичек? Это хорошо, – вспомнив встречу с фронтовиком в Дубровке, похвалил Алпатьев.

– Ну как тут без них? Автолавка приезжает два раза в месяц, если не забудут. Электричества нет, газовые трубы даже в готовые траншеи не уложили, растащили их, вот и живи тут...

– Спасибо тебе, Петуня, считай, что я твой должник. И еще просьба: на днях я отправлюсь за бугор холодильную технику для нового корпуса сторговать, ты уж, наезжая к своей матери, хоть иногда заглядывай к отцу. Что ему нужно, ты лучше меня знаешь. А я за все с тобой разочтусь. Лады?

– Все? Тогда вперед к труду и обороне!

II

Николай Николаевич Алпатьев возвращался в свой конец села в самом добром расположении духа. Одной рукой он опирался на трость, сделанную из арматурного прута специально для него одним из его бывших учеников, другой прижимал к груди нечто для нашего времени необыкновенное. Этим нечто была старинная прялка, почти вся сносно сохранившаяся и до сих пор излучавшая блеск изначальной краски и того еще лака.

Рядом с ним, чуть опережая, тяжело топал большими предельно изношенными башмаками молчаливый и всегда задумчивый подросток, приходивший к нему за помощью, даже тогда, когда такой помощи и не требовалось. Повидимому, подростка тянуло к своему бывшему учителю, привлечшему его к себе, еще мальчика, своей почти родственной добротой и участием, и их часто можно было видеть вместе.

Звали его Пашенькой, как и в детстве. В деревне это случается нередко: родился – дали в семье имя, ласковое, желанное, подрос – все то же, стал большим – и имя его ласковое при нем. Стариком станет и все равно останется Пашенькой. Особенно если характером добр и ласков сам.

В руках у Пашеньки тоже была необычная ноша в каждой по колесу. Колеса старые, побитые на дорожных рытвинах и ухабах, но еще довольно прочные, сохранившие все спицы, а одно даже ошинкованные блескучим железом.

Николаю Николаевичу как раз не хватало этих колес: остов старой развалюхителеги добыл, два задних колеса откопал в мусоре бывшего конного двора, не доставало только этих, передних. Теперь телега будет в полном комплекте, а то что за деревенский музей без телеги? Когда-то вся Русь на ней себя возила. Без нее нашего прошлого не представить. Вот и пусть стоит, заслужила, поди!

Самая большая комната в бывшем доме Жука стараниями старого учителя и его ученика постепенно наполнялась не то что экспонатами, а самой историей. Витрин и остекленных шкафов пока не было, в кирпичную стену гвоздя не забьешь, вот и лежит все на полу. На полу, но аккуратно – посуда с посудой, воловье деревянное ярмо с кожаной, ременной, а то и лыковой конской сбруей, старые валяные ручную пимы – со всякой обувкой, в отдельных углах – кухонная и столовая утварь, ручная мельничка, ступа с тяжелым дубовым пестом, а на подоконниках – детские игрушки-самоделки...

Пока Николай Николаевич любовался своими приобретениями и прилаживал к телеге колеса, Пашенька пристроился на высоком пороге и по своему обыкновению, порывшись в карманах выдавшего вида ватника, достал какие-то бумажки и принялся читать. Без чтения он не мог, хоть про что, понятно или не очень, – все равно. За черными строчками строгих и до сих пор завораживающих букв ему должно быть мерещился совсем другой мир и совсем другая жизнь.

Иногда, когда уж все было непонятно, он обращался к учителю и смущенно просил:

– Вот послушайте, что здесь пишут. Я и так, и сяк, а что к чему не пойму... А?

Случалось это часто. Вот и сейчас – протянул Николаю Николаевичу какой-то обрывок и стыдливо заморгал виноватыми глазами.

– Читай вслух, а то я без очков ничего не различу.

Тот, напрягшись не только лицом, а, казалось, и всем телом, стал громко читать, как читал когда-то на уроке:

– «В кислой среде осаждаются нерастворимые висмута оксихлорид и цитрат, образуются хелатные соединения с белковым субстратом... Увеличивая синтез простогландина ... и секрецию гидрокарбоната, стимулирует активность цитопротекторных механизмов...»

Читал Пашенька добросовестно, с великим старанием, непонятные слова корежил на всякий лад, весь взмок и под конец уронил руки, а вместе с ними и обреченную на отсечение голову.

– Нет, не могу... Дураком писано... Или я сам дурак?

– Не дурак ты, друг мой, и писал не дурак. Ты, похоже, где-то что-то медицинское подобрал. А там сам черт ногу сломит. Но иначе нельзя – наука!

– Кто же читать такое станет?

– Как кто? Врач, что тебя лечит.

– Меня не лечит. Я не болею. Никогда.

– Ну тогда, допустим, меня. Мне, разумеется, тоже все понять хочется, ведь лекарство это назначено мне, и то... через пень-колоду... Порой сплошная латынь... Но врач объяснит, только не нужно стесняться спрашивать.

– Больше не буду.

– Нет-нет, друг мой Пашенька! Не спрашивают только гордецы и невежды. Спрашивать не стыдно, стыдно не знать. Я понятно говорю?

– Понятно, Николай Николаевич, по-нашему же.

– А ты что попало не читай. Лучше выбери у меня хорошую книжку. У меня найдется.

Когда, собираясь уходить, навешивали на дверь замок, к ним подошел Кирилл Аркадьевич, бывший директор теперь уже бывшей школы. Поздоровался, взял Алпатьева под руку, покачал головой.

– Все трудитесь, Николай Николаевич, неугомный вы наш человек? Скоро от деревни ничего не останется, а вы все хлопчете.

– Деревни не станет, а душа останется. В этом музее. Как память и предостережение новым поколениям.

– Вы думаете, что будут новые поколения? Верите?

– Будет воля – все будет. После войны, помните, поди, все восстановили. Потому что воля была. И страстное желание жить.

– Так то война была! Так то после войны...

– А нынче неужто иначе?

Помолчали. Оказавшийся вроде бы лишним Пашенька деликатно оставил взрослых одних и потопал к себе домой.

– Странный мальчик, – глядя ему вслед, – вздохнул бывший директор. – Что-то у бедняги с головой, вон уже какой большой, а все как дитя.

– Сирота, не к кому прислониться. Сам ласковый и от других ласки ждет.

– Дитя, он еще не понял, что у него впереди. Жизнь-то нынче э-э!..

– Эх, Кирилл Аркадьевич, Кирилл Аркадьевич! А помните, в Святом Писании сказано: «будете аки дети»?

– Не читал. Думаю, и вы тоже.

– Пусть так... Но слышать приходилось. И не от плохих людей.

– Я не против... А впрочем, я за вами, Николай Николаевич. В своих трудах вы совсем забыли, какой сегодня день.

– Какой?

– День Учителя, друг ты мой! Торжественного заседания педсовета не предвидится, но кое-кто, слава им, еще не покинул нас. Не отметить нашего праздника никак нельзя, вот мы и решили скинуться и собраться. Может, уже в последний раз.

– Молодцы! И где?

– У меня дома. Все уже готово, столы накрывают. Идемте, пожалуйста.

– Спасибо, очень рад. Я только домой загляну, шкуру сменю. Не идти же на праздник в таком непотребном виде. Ни одна уважающая себя женщина рядом со мной за стол не сядет. А наши педагоги – все женщины. И именно такие!..

Дома Алпатьева ждал сюрприз. Едва откинул дверную щеколду и ступил на веранду – в глаза бросились чьи-то большие яркие пакеты с битой птицей. Рядом на полу лежали три больших бело-пестрых гуся. На столике – горка какого-то непонятной формы печенья, консервная банка и самое нужное – пара спичечных коробков, пачка соли и початая бутылка подсолнечного масла.

Сердце зашло в гулком и частом галопе. Сын, Сережа! Ну кто же еще, если не он? Нашел время, все бросил и примчался. И не застал. Как, поди, горевал, родимый! А теперь, когда еще придется?.. В какой год?.. С сыном он был в давней тяжелой размовке, но любил по-прежнему.

Вспомнив о том, что его ждут, наспех привел себя в порядок, прихватил пакет с утками, пару гусей засунул в старенький вещмешок и, помогая себе тростью, заторопился со двора. В последнее время его все больше и болезненнее стала беспокоить правая нога: отчего-то открылась уже позабывшаяся было рана. Оттого и прихрамывает, оттого и трость всегда с ним.

В директорском доме его заждались, но когда увидели принесенные подарки, все пришли в такое веселое возбуждение, что и о застолье забыли.

– Ну, Николай Николаевич! Ну, удивили!

– Так вы, оказывается, еще и охотник!..

– А говорили, что жалко убивать!..

– Так ведь к празднику же! Ну, Николай Николаевич, ну, молодчина. С вами нигде не пропадешь!..

Женщины шумно разложили подарки по пакетам – всем хватило. Никто не остался обделенным. Его благодарили, обнимали, радовались такому неожиданному случаю. Он хотел было признаться, что это совсем не его трофеи, что он и в самом деле совсем не охотник, но вовремя одернул себя: сына его, Сергея, в селе не любили и если вспоминали, то только недобрым словом.

Этот неожиданный и казалось бы, малозначащий, пустяшный эпизод развеял печальное настроение, с каким собирались, и застолье началось радостно-возбужденно, как в прежние благополучные времена.

О серьезном старались не говорить, вспоминали смешные случаи, которых за долгие годы учительства у всех накопилось немало, о выпускниках, прославивших

их Старые Пали и свою школу, о том, как, приехав на эти «чертовы кулички», всем сердцем привязались к неожиданно прекрасному краю, прижились тут, стали своими.

Когда Кирилл Аркадьевич все же не удержался, погоревал по опустевшему селу и пропавшей школе, которую разобрали и увезли невесть куда, женщины вспомнили про песни, упросили его достать гармонь. Пели дружно, даже с каким-то вызовом, мол, помираем, но не сдаемся и сдаваться не собираемся! Вдруг вспомнили как провожали Николая Николаевича «на заслуженный отдых», какие смешные песни сочинил он по этому случаю и потребовали их повторить.

Никаких песен, как и стихов, он никогда не сочинял, но переделать что-то популярное на новый лад любил. Вот и вспомнил:

*Пенсионера век недолог,
И потому так дорог он.
Будь ты технарь или филолог,
Ты обречен, ты обречен.*

*И пусть все тот же мир подлунный,
В самом тебе уже не то.
Не ублажить нам девы юной
Ни новой яхтой, ни авто.*

Хохот, одобрительные восклицания, хлопки! Над кем или чем смеетесь, милые дамы? Особенно те, а их тут большинство, кто давненько теоретически уже «заслуженно отдыхает», а практически честно и праведно прослужил в школе вплоть до ее закрытия. Некем было заменить, учительский труд стал непристижным и низкооплачиваемым. Но – совесть, чувство долга! Это всегда не имело и не может иметь цены. По большому счету, на них держится все лучшее в человеке и человечестве.

Конечно же, они хорошо понимали, что смеются над самими собой, над своими морщинами и болячками, над подступающей немощью и старостью. Но они сильные люди! Только сильный человек умеет смеяться над своими бедами, неудачами, неласковой судьбой. Слабый плачет и укрывается в своем горьком одиночестве. Сильный открыт всем ветрам жизни и идет им навстречу.

– Дальше, дальше! – требовали голоса. Кирилл Аркадьевич тихо наигрывал памятную прилипчивую мелодию, и Алпатьев, подавив в себе приступ смеха, стал подпевать:

*Пенсионера путь в ухабах,
Без костыля не покажись.
Смеются куры, плачут бабы –
Такая жизнь, такая жизнь.*

*И пусть все тот же мир подлунный,
Ни звезд, ни лычек на плече.
Не покатай нам девы юной
В своем разбитом «Москвиче»...*

Вечером притопап Пашенька. Попросил книгу «про Тараса».

– Так ты ее уже читал, друг мой, – напомнил Николай Николаевич.

– Так это когда было! Хочу еще.

Книг у учителя Алпатъева было много – для читателей разных возрастов и интересов. Из тех, что в свое время читали его дети, и из своих, что помогали ему делать свои уроки насыщеннее и живее. Были еще – с закладками, пометками на полях, загнутыми уголками. Только его. Только для своей надобности, а вернее сказать – души. В последние годы он обращался к ним нечасто, но надеялся, что придет когда-нибудь и их черед. А он все не приходил.

– А ты, Пашенька, уже поужинал? – протягивая пареньку томик Гоголя, спросил Николай Николаевич.

– Поел... – смутился тот.

– А бабулю покормил?

– Покормил. Только она совсем почти ничего не ест...

– Все болеет?

– Лежит все. Больная совсем. Бога молит прибрать, а тому все недосуг.

– А давай-ка мы с тобой вот что сделаем. Бери этого гуся, дома доощипай (я, видишь, не успел) и свари ей супчика. Хороший бульончик должен получиться. Сумеешь? Вот и хорошо.

Когда тот, совсем растерянный и счастливый, ушел, старый учитель смёл веничком пух, бережно сложил его в мешочек и задумался. Вот она, старость крестьянская. Всю жизнь в трудах спины не разгибала, а под конец по-людски и обиходить некому. Хорошо хоть внук рядом, такой заботливый и добрый. Сирота. Отца, должно быть, пустого и случайного человека, и в глаза не видел. Мать куда-то подалась на заработки да так и забыла дорогу к дому. Вот и бедолажат вдвоем, сердечные.

Бабушка была стара, больна, а, пока могла, за внука радела. И в школу собирала, и одежонку чинила-стирала, и в голоде не держала. Правда, всего четыре класса одолел Пашенька. Но зато каким учеником был! На уроках – весь внимание, все ему интересно, все в свою маленькую душу укладывает. И все спрашивает, спрашивает: почему столько народов на земле? Будь один – все бы на одном языке говорили, понимали бы друг друга и не воевали; почему Бог слепил землю так небрежно, всю такую разную – то с горами, то с болотами, то всю холодную, то всю горячую, как сковородка на плите; почему в языке так много всяких слов, часто даже лишних, ругательных, а нужных нет: вот, к примеру, синица, она, а как будет он, как зовут стрекозиных деток, неужто стрекозлы, а у жука жена – жучка?

Услышала ребягня про жука и жучку – и в смех. Тут же приспособила к дядьке Жуку и его дочке Зинаиде. Жук, стало быть, и Жучка! До сих пор она у них на языке, хотя давно уже по мужу Алпатъева и живет в самом областном центре. Не то что другие...

Ох, эти Жуки! Не лежало у Николая Николаевича сердце к этой куркульской семье. Когда хоронили старушку Акулину, соседи с облегчением вздохнули: прибрали наконец черти эту акулу. Но и сынище ее был жук еще тот. Одна Зинаида радовала глаз: умница, скромница, красавица! Но что скрывалось за всем этим? Сергей не задумывался. Влюбленное сердце слепо.

Ш

Николай Николаевич Алпатъев родился в родных Старых Палях, в этом доме крестился, здесь, как говорится, и людям сгодился. Рос как все деревенские дети, с ранней поры приучаемые ко всяким посильным трудам, учился в школе. Во время Великой Отечественной, когда в деревне остались одни женщины, старики и детвора, они, еще подростки, стали опорой как тех, так и других, – на волах и лошадях пахали

поля, вместе со взрослыми убирала урожай, осенними и зимними обозами вывозили добытый хлеб на ссыпной пункт, ходили за скотом, были первыми помощниками матерей дома.

Отца призвали на войну в самом ее начале. Через год-два ушел старший брат. Погибли оба. До него, восемнадцатилетнего, очередь дошла в начале сорок пятого, когда даже сам воздух уже был пропитан неизбежной и близкой победой. Боясь не успеть вложить в нее и свою долю сил и крови, оказаться на шапочном разборе, новобранцы стремились на фронт. После непродолжительного обучения одни команды действительно направлялись на запад, и им завидовали, считалось, что им повезло. Других, особенно имевших за плечами хотя бы семилетку, продолжали учить ратному делу еще настойчивее, словно про запас, для какой-то новой войны.

В середине лета, уже после Победы, его часть подняли среди ночи и погрузили в эшелон, помчавший их на восток. Так вот где ждала их та самая новая война. В отличие от той, долгой, великой, уже победно отгремевшей на землях Европы, эта оказалась такой стремительной, такой неудержимой от знойных монгольских пустынь до далеких Курильских островов, что вместились всего в какую-то пару недель.

На фронтах во многих местах закипали короткие кровавые схватки, другое дело – воздушно-десантные броски в тылы противника. Их дерзкая неожиданность и все та же стремительность буквально парализовали и ошеломили японцев. Целые города сдавались без боя. Десантники почти не имели потерь, лишь однажды в ходе сдачи оружия один из квантунцев, скорее из полной неадекватности, чем из героизма, полоснул очередью по его отделению. Трое бойцов были легко ранены, в том числе и он: пуля угодила в предплечье левой руки, не задев кости. Досадно, но не настолько, чтобы оставить боевой строй. К концу войны ранка поджила, оставив о себе лишь небольшую памятку. Когда по краткосрочному отпуску заскочил домой проведать мать, о ней даже не вспомнил.

Как же была рада мать, увидев живого и невредимого сына! Полдеревни сбежалось посмотреть на земляка-фронтовика. Но до конца срока службы было еще далеко. Вернувшегося в часть военные дороги снова повезли на запад. Опять после недолгого отдыха и обучения, уже лейтенантом. На Украину. Западную...

Война кончилась (вся Вторая мировая); истрадавшаяся, измученная, полуголодная страна стряхивала с себя оцепенение тяжелых военных лет, примеривалась, воодушевленная своими победами, жить дальше, и, пожалуй, мало кто знал, что эти жертвы не последние, что спокойную мирную жизнь на своей земле еще нужно утвердить.

Пройдут годы, прежде чем люди узнают всю правду этого времени. О тех же украинских и прибалтийских национал-фашистах, помогавших гитлеровцам захватывать их землю и поработать свой же народ. Нет, это были не одиночные уголовники, выслуживавшиеся перед порабощателями за кусок хлеба, стакан шнапса и крепкие немецкие ботинки. Это были хорошо вооруженные, экипированные, обученные роты, батальоны, дивизии. Их, как правило, использовали на самых черных палаческих «работах» – казнях патриотов, массовых расстрелах, уничтожении целых сел и деревень, вроде Хатыни, в борьбе с партизанами.

Когда бронированная немецкая мощь надорвалась и под ударами Красной Армии покатились вспять, вместе со своими хозяевами уносили ноги и многие из этих подонков. Но не все. Для продолжения своей мерзкой службы в тылу наступающих оставлялись специально подготовленные отряды со своими базами, складами оружия, схронами, явочными квартирами, агентурой. Горы и леса, которые они знали с детства, помогли им действовать скрытно и часто безнаказанно. Не щадили никого – ни пограничников, ни вернувшихся израненных земляков-фронтовиков, ни семьи

недовольных их грабежами хуторян, а уж недочеловеков-инородцев изводили без счета, будь то русский собрат, польский шабер или вконец замордованная многодетная еврейская семья.

Это тоже была война, и в ней тоже предстояло победить.

События на востоке вспомнились Николаю Николаевичу редко, но вот эти, в горах и лесах Галиции, и поныне приходят в его сны. И чаще всего не с выстрелами в спину или из засады, не с взрывами гранат и мин, ни с ожесточенными скоротечными боями с выслеженными бандами, а с тем, что бывает у каждого человека в жизни в первый раз. С первой любовью.

Эта девушка полонила его сразу, и он сдался в ее плен с радостью и, думалось, навсегда. Среднего роста, статная, белолицая, с черными разлетающимися бровями и белозубой, такой доверчивой и доброй улыбкой, что поневоле, глядя в это юное лицо, непроизвольно начинаешь улыбаться сам. А какая у нее была коса! И какими горными цветами пахли ее волосы и вся она, этот горный, лесной ли цветок.

Служила она вольнонаемной работницей в лазарете их небольшого гарнизона – убирала палаты, стирала простыни и бинты, всюду была на подхвате, – на перевязках, операциях, подготовке тяжело раненных к отправке на «большую землю». Возвращаясь после очередной стычки с «лесными парубками», он порой завидовал тем, кого она тут опекала. А опекала она всех, даже старого лысого хирурга, такого искусного в своем врачебном деле и такого беспомощного в вопросах быта.

Звали ее тоже очень красиво – старинным славянским именем – Надия. Надежда, Надя, стало быть. Обратив на себя внимание девушки он не надеялся и не мечтал и все же однажды, как-то случайно, пошутил:

– Вон та койка, что в углу, пока свободна? Вот бы мне хоть с недельку полежать на ней.

Та удивленно и протестующе всплеснула руками.

– Господь с вами, товарищ лейтенант! Как можно хотеть такого? Вы же командир, вам воевать надо.

– Это верно, товарищ Надия: воевать. Скоро опять на дело, в сторону вашего сельца, между прочим.

– Возвращайтесь. Я всегда вас живым жду... – тут она неожиданно зарделась и потупилась. – Хоть какого жду...

Молодость, сама жизнь быстро сблизила их. Через год с позволения начальства в гарнизонной столовке сыграли скромную свадьбу, время побежало еще дружнее. Подоспевший декретный отпуск Надя проводила дома, у родителей. Там его и сыночком обрадовала. Он навещал ее, когда выпадала такая счастливая возможность, но лесная война все длилась и длилась. Притихая в одном месте, она неожиданно разгоралась в другом, порой совсем рядом. Тогда даже попасть в ее недалекую деревню было небезопасно.

Ему стало тревожно за Надю и ее родителей. Те тревожились тоже, ведь как раз именно такие семьи шли под топор, под пулю или гранату в первую очередь.

И граната прогремела. Брошенная тихим летним вечером в приоткрытое окно, она угодила прямо в детскую коляску, в которую молодая мать укладывала ребенка. Так в одно мгновение оборвались две жизни – одна в самом расцвете, другая в самом начале. Обе безвинные, обе святые...

В душе Николая тоже что-то ответно взорвалось. Теперь он почти не выходил из боев, напрашивался на самые опасные операции, на первых порах отказывался брать пленных. Солдатское счастье оберегало его, на мелкие «царапины» он не обращал внимания, не щадил ни себя, ни своих бойцов, насмотревшихся на подобные ужасы и

желавших лишь одного – скорее покончить с этими бандитами и поставить на войне последнюю, победную точку.

Так прошел год, еще один год войны, которой будто бы и не было, которой не должно было быть, но которая тем не менее была, питалась кровью своих жертв, ненавидела, проклинала, мстила.

На Воьлини Алпатъева все-таки подстерегла беда. Хоронившийся в зарослях кустарника недобиток полоснул по его ногам из немецкого автомата, и он упал. Бойцы забросали ненавистника гранатами, а его вынесли к своим. Потом был госпиталь на «большой земле», долгие месяцы лечения, боли, тягостного и непривычного отключения от активной жизни, дни и ночи горьких раздумий.

Ему посчастливилось: вместе с ним почти все это время на излечении находился его боевой товарищ, командир отделения его взвода, раненный в том же бою, сержант Федя Неглинцев. Москвич, призванный с последнего курса педагогического института, он много чего знал, во всем толково разбирался, и долгие беседы с ним отвлекали от страданий и тяжелых дум.

Больше всего Николая Николаевича тогда интересовала и глубоко волновала ситуация на Украине, точнее – на ее западе. Чем объяснить такую, казалось бы, противостественную и неожиданно горячую любовь многих славян-украинцев к немцам-завоевателям, переимчивость их нацистско-фашистской идеологии, готовность услужить всем – от угона в германское рабство своих земляков до самой позорной и грязной палаческой работы.

Солдаты из них получались неважные, зато каратели – гестаповцам и эсэсовцам на зависть. Откуда эта ненависть и жестокость?

Гитлеровцев изгнали – ненависть и не унявшаяся ярость остались. Ну, думалось, погуляют парубки по лесам, потешатся над еще кое-где выжившими поляками и евреями, над своими же единокровниками галичанами и воляньянами, все равно конец один. И он близок. Что останется? Какая память, какой позор!..

Понять все это ему, невольному участнику этих кровавых событий, было крайне необходимо, но деревенская семилетка была тут бессильна. Беседы с другом постепенно восполняли его знания, а беседчиком Федор выступал отличным. Его рассказы о древних славянских племенах, тысячи лет назад облюбовавших для себя великие просторы от Балтики до Волги, пенились жизнью, играли звуками и красками.

Эти просторы часто спасали их от многочисленных находников, где каждый человек – воин, а весь народ – войско. В такие времена, сберегая себя и свое будущее, они покидали степи и подавались на полночь, как тогда говорили, в спасительные леса. А в случае с Галицией и Воьльнюю – еще и в горы, куда конница кочевников не заходила.

Так было, когда из бездонного азиатского кошеля посыпались сарматы, языги, аланы, гунны, болгары, угры, авары... Так было, когда после подчинения вместе с Грецией всего Балканского полуострова на северные берега Черного моря двинулись железные фаланги Древнего Рима, а также переселявшиеся из неприютной Скандинавии древние германцы готы.

И те, и эти давно не были кочевниками. Те прошумели-прогремели и прошли дальше, другое дело завоеватели оседлые: этим атдай свою землю и воду, себя и свой род, свое настоящее и будущее, этим нужны твои умные работающие руки, твои горькие слезы, обессиливающие и лишаящие тебя человеческого достоинства, твои дети, которых можно выгодно продать за звонкое серебро.

С готами, например, война шла целых полтора века, пока их не смыла волна кочевников гуннов.

– Так что же получается, – озадачился Николай, – германцы эти наши враги еще с той далекой поры? Считаю, всю жизнь?

– Так это было уже не в первый раз, – пояснил Федор. – В первый раз они напали на наших пращуров когда еще, вытесненные другими народами, бежали из Средней Азии. Наших в своих сагах они называли не славянами, а на свой манер – ванами.

– Ну и как? Чья взяла?

– Отбились. Те двинулись дальше и долго нигде не могли зацепиться, осесть.

Пока не оказались на далекой малолюдной Сканзе.

– Это ж надо... И что за народ такой?

– Только в этом веке две мировые войны развязали...

– Выходит, им весь мир подавай?

– А Гитлер так и заявлял. Мол, арийцы немцы – великая нация, единственная достойная быть владыкой мира.

– И что же дальше... через двадцать, тридцать, пятьдесят лет? Неужто – опять?

– Не думаю. Теперь у нас есть Советский Союз. А это не то что разобщенные племена и княжества давних времен. Теперь нас никто не тронет.

– Дай-то Бог!.. Устал от войн наш народ. Мир ему нужен, мирный труд и покой. Тогда столько всего сотворит, что мир ахнет.

– Да, только бы не мешали...

Такие тихие долгие разговоры шли у них день за днем, из месяца в месяц. Новые знания плотно укладывались в его пытливого голову, укрепляли душу. Как он мог жить без всего этого? Не до того было, верно. А ведь когда знаешь историю, ты совсем другой человек. В любой беде ты не одинок. Вместе с тобой, в тебе самом – твой народ, твоя страна.

О древних славянах и Неглинцев мало что знал. По всему выходило так, будто в древности их не было вовсе. Книжные знания о них начинаются практически лишь с Нестора и летописей, одним словом, с князя Рюрика и принятия христианства при киевском князе Владимире Святославиче.

А это уже средневековье. Подлинную древность нашу вычистили, вымарали, украли у народа, надо думать, не какие-то невежды, а его стойкие, непримиримые недоброжелатели.

Для торжества справедливости мало назвать их «норманнскую теорию» лженаучной, – самим работать надо. Вместе с археологами засучить рукава и копать, копать, копать. И не только землю, хранильницу многих доселе не известных знаний, но и заграничные архивы, книгохранилища, хроники, для этого необходимо знание языков, и не только в их нынешнем состоянии, но и древнейшие, даже мертвые.

У славян было много соседей, с которыми они веками жили бок о бок, дружили, ссорились, воевали, творили общечеловеческую историю. Не могли они в своих клинописных табличках, папирусных свитках, берестяных листах, высеченных на камне текстах не упомянуть о славянах.

– У нас должна появиться новая историческая наука, новые Ломоносовы и Карамзины, – горячился Федор. – Великий народ должен знать свою великую биографию. Мы должны ему вернуть ее. Открыть заново, может быть, собрать по крупицам – и вернуть. Довольно с нас тысячелетнего унижения и оскорбления. Иначе наша Победа нам этого не простит!

О том, что славяне-русичи жили племенами, которые на время создавали большие и сильные княжества, а затем снова обособлялись, Алпатьеву помнилось еще со школы. Но – почему? Из-за чрезмерной гордыни, неуживчивости, недостатка государственного ума? Из-за великих просторов и вековой привычки к ничем не ограниченной свободе? Из-за очередного нашествия азиатов?

Странные были тогда порядки. Вот, скажем, тот или иной умный князь всю свою жизнь бился-колотился с созданием и укреплением своего княжества, строил города, возводил святые храмы, вел выгодный торг с соседями, а пришла старость – начинает делить, казалось бы, неделимое, уже единое на части: одному сыну в удел – этот город, другому – тот, третьему, четвертому, пятому... – и нет княжества, страны, государства.

Мало того – появляются обиженные, начинаются своры, обнажаются мечи. И на кровных братьев, и на далеких и близких соседей. Теперь жди, когда появится новый умный князь, чтобы начать все сызнова. Даже с помощью наемников-варягов, кочевых орд, родичей-поляков и мадьяр.

– Жалко и обидно, – вздыхал Неглинцев. – Ладно бы в битвах с более сильным врагом не устояли и опять разошлись по своим лесам. Нет же, по своему недомыслию, согласно заведенным когда-то обычаям. Уж не герой ли, не умница ли был Святослав Игоревич, разгромивший каганат хазар и восстановивший державу едва ли не в границах Скифии Великой! Всех славян мечтал в единую силу слить, а потом сам же разделил ее на три – и полилась кровь.

А Ярослав Мудрый? Уж он ли не был умудрен в государственных делах, а пришло время – разделил страну аж на восемь частей, чтобы всем досталось. И опять – кровь.

Дело дошло до того, что сам Киев, золотой стол русских великих князей, стал переходить из рук в руки пока не превратился в слабый и заброшенный удельный городок. К нему перестали тянуться другие княжества и племена. Наоборот, пошло переселение на северные еще мало обжитые земли. Там появились и быстро набирали силу новые города и княжества – Новгородское, Ростово-Суздальское, Смоленское, а там уж и Рязанское, Тверское, Московское... Казалось, все деятельное, молодое, плодотворное перелилось сюда. Новая Русь начиналась теперь здесь.

Ко времени монголо-татарского нашествия раздробленная, лишенная единого государственного и политического центра Русь не смогла противостоять сильнейшей в мире армии завоевателей и стала их вассалом. Киев, как и многие другие города, был разрушен. В шестидесятих годах четырнадцатого века его легко захватили литовцы. Еще через сотню лет, после образования Речи Посполитой его заняли поляки. Потеряла свою независимость и Галицко-Волынская земля, так же большей частью вошедшая в состав польско-литовской державы, раскинувшейся от Балтики до самого Черного моря. Начались долгие века восстановления и накопления сил для дальнейшего существования. Много бед и обид чинилось в эти времена на русских землях. Иные из них, оказывается, не забылись до сих пор.

– Не одна Русь, вся Европа феодальных времен прошла через подобные испытания, – желая поддержать упавшее настроение товарища, не раз повторял в их разговорах Федор. – Это как закон природы. Обидно, конечно, досадно до слез, но что делать? В одну реку, говорят, дважды не войдешь. Река – это вода, а текучая вода всякий раз новая... Не вернешься туда, чтобы что-то исправить, подсказать, предотвратить. Ум понимает, а сердце горит. Своя же земля, свои люди, своя судьба. Разве же не так, лейтенант?

Старые раны, старые обиды! Стоит их умело разбудить, разжечь духом мести – и ты получишь то, что делалось тогда в той же Западной Украине. Найти повод – нет ничего проще. И наставники всегда тут как тут, сами этот повод сыщут, какой-нибудь пустяк раздуют, как слона из мухи, распалят оскорбленное самолюбие, извлекут из полужабытого прошлого звучные, ласкающие слух имена, взрастят или слепят новых героев – ну и пошло-поехало: страсти накаляются все больше, вот уже занимаются пожарами, вот уже стреляют, вот уже льется безвинная кровь...

– Кто-то из ученых как-то мимоходом заметил, что у любого народа существует своя историческая память, – сказал однажды Федор. – Вот, скажем, человек, ты

или я. Живем, делаем свои дела и не подозреваем, что носим ее в себе. Глубоко в подсознании...

– Мистика это, – возразил Алпатъев. – Как может быть то, чего даже не чувствуешь?

– До особого случая. А случись он – откуда что и возьмется! Сам себе поразишься. На войне это совсем не мистика, совсем!

И вдруг неожиданно:

– А ты не заметил чего-то странного в отношении киевлян к Москве? Нет-нет, ничего предвзятого, никаких возражений: Москва – столица самой большой республики, потому и столица всего Советского Союза, о чем разговор? Разговора нет, но все-таки, все-таки...

– Что ты хочешь сказать? Тебе кажется...

– Мне кажется, если б я сумел проникнуть в их подсознание, я бы обнаружил там давнюю, очень давнюю, стертую временем, иссохшую, едва живую... зависть. Даже ревность...

– К Москве? – от удивления Николай аж отшатнулся.

– А разве нет повода? Киев – старейший город, мать городов русских, золотой стол великих князей, вокруг которого вращалась жизнь всех русских земель и племен, – и что стало? Это все равно, что человеку упасть с высеченного дерева, сломать себе все члены, но, на свое несчастье, остаться живым. Такое может приключиться не только с человеком. Вот и Киев... пал так низко и бесславно, что даже удельные князьки им брезговали. Хуже того – оказался под чужим сапогом. И в то же время...

Перед тем, или для того, чтобы сказать самое главное, Неглинцев набрал полную грудь воздуха, широко раскинул руки, точно стоял посреди бескрайних русских равнин, и медленно, лаская каждое слово, закончил:

– И в то же время, как-то вдруг, будто в сказке, поднялся и расцвел наш далекий по тем временам Север. Владимир, Ярославль, Суздаль, Ладога, Новгород, Смоленск. Рязань, Муром... И Москва, из неприметной деревушки превратившаяся в стольный город великого государства. Москва – столица СССР. Весь мир на нее смотрит с гордостью и надеждой. А кто и не без робости, что тоже хорошо.

– Ну а Киев? – продолжал допытываться Алпатъев.

– Киев – хороший город. Я любил там бывать у бабушки с дедушкой. Немцы его варварски разбомбили, но мы все восстановим, еще краше станет. Вот такие дела, командир.

Вскоре после этого разговора они распрощались: подлечившийся Федор возвратился в свою часть и вскоре погиб, а демобилизованный Алпатъев стал собираться на гражданку, домой, на свой любимый Урал.

Тогда-то он и решил: нужно учиться. Он станет учителем и тоже будет образованным, знающим человеком. Как его фронтовой друг.

IV

Ох, до чего же долги и бесприютны эти томительно-однообразные ночи! С вечера еще клонит в сон, но через час-другой от него не остается и следа, глаза все пялятся в темноту, словно чего-то ищут в ней. Ищут и не находят. И чего им еще нужно, ведь за долгую жизнь все в доме высмотрено до последнего сучка в потолке и последнего гвоздя в стене. Чего им недостает?

В хозяйстве не осталось ни собаки, ни кур, ни петуха, некому оповестить хозяина, что середина ночи миновала, что после третьей песни в небе появятся первые серые

проталыны, а вместе с ними и надежда на новый день. Изба за ночь выстудится, по-неволле начинаешь крутиться и вертеться под сбившимся одеялом, зарываться под него с головой, но куда там! Лучше пересилить себя и подняться. И он встает, сует ноги в холодные старые пимы, нахлобучивает шапку, набрасывает на плечи меховую душегрейку-безрукавку и садится у окна ждать дня.

Света во всей деревне давно нет, потому что электричество отключили еще в дни, когда по телевизору показывали, как новая власть расстреливает в Москве старую. Из танков и пулеметов. Чем все кончилось узнавали потом из слухов, из сарафанного радио, из логики самой жизни. Ну, раз обрезали провода, чтобы продать как цветной металлолом, раз разделили между собой самые богатые нефтяные поля, комбинаты, банки, шахты, целые отрасли, значит в силе новые. До крестьянских полей пока большой охоты не прявляют, но колхозы приказали распустить. Крестьянство как класс, мол, давно и окончательно изжило себя, с ним одна морока. Вон в Европе с этим классом покончили еще в семнадцатом веке – и ничего. Согнанных с их собственных земель английские власти, к примеру, выбросили на дороги, а усадьбы пожгли. Потом назвали бродягами, приняли специально для них нужные законы и согласно этим законам (у них все делается строго по закону, без закона шага не шагни!), так вот потом по этим законам стали тысячами вешать вдоль дорог, десятками тысяч бросать в тюрьмы и вывозить на каторжные работы в свои заморские колонии. Можно было бы заставить потрудиться бездельников-аборигенов, но мудро решили сначала очистить от них прекрасные острова и даже целые континенты. Очень уж они небелые и нецивилизованные. Еще какую-нибудь холеру подхватишь. Свершили – и дело в шляпе. А мы чем хуже?

Постепенно в избе посветлело, новый день вступал на свою краткую службу. Николай Николаевич печально огляделся и сокрушенно вздохнул. Без женских рук, без хозяйского женского призора дом словно лишился жизни. Нельзя было сказать, что сам он не подметал полы, не прибирал за собой на кухоньке, не застилал на день постель, но все было как-то не так, без души словно, на скорую руку, как в каком-нибудь бригадном клубе или общественно-ничейном Доме рыбака на Долгом озере.

Вот уже два года как не стало с ним жены, его веселой певуньи и безунывой подруги жизни. Много лет назад он и Зоя Ивановна Ускова вместе начали свою учительскую страду в здешней школе. Он – местный выучившийся после войны на учителя, Зоя Ивановна, девчущка совсем, – приезжая детдомовка, окончившая музыкальную школу и направленная на работу в его Старые Пали.

Пришло время – поженились, народили себе сына, дождались внука. А потом вдруг где-то далеко обнаружилась ее родная мать, которую она считала погибшей. Ясное дело, умчалась как на крыльях. Написала, что мать очень больна, но перебираться к ним на Урал не согласна, придется ему пока пожить одному. А тут и почта работать перестала, гадай теперь – что там и как. А годы бегут...

За дверью, в сенцах, послышался скрип чьих-то ног. Пашенька пришел.

– Николай Николаевич, меня Верушка послала. Велела сказать, что автолавка приехала. У нашего музея стоит. Пойдем, прикупите чего ни есть.

Верушка – еще одна сиротка, славная и добрая такая, что хоть дочкой называй.

Николай Николаевич быстро изготавился и заторопился следом за Пашей. На улице было бело и как-то пронзительно светло от нападавшего за ночь снега. Под ногами приятно похрустывала замерзшая земля.

– А сама Верушка где? Тоже, надо думать, придет?

– Она уже там. Очередь заняла.

– Это пяток человек – очередь? Ты бы, Пашенька, посмотрел, какие очереди в войну и после нее были. С версту!

– На такую очередь нам людей со всей округи не собрать, – засмеялся и затопал вперед мальчуган. – Я тоже на вас займу. Хлеба-то всего по две буханки в одни руки дают.

Дверцы фургона были широко распахнуты, Николай Николаевич заглянул и смутился.

– И это все?

– Так не вы же первые, – пожал широкими кожаными плечами водитель, он же и продавец. – До вас другие деревни были, и всем дай. А где я возьму если всего столько отпущено? Вас-то, гляжу, горстка одна, на всех хватит.

– Подойдут еще. Вон идут... Не торопись.

– Тогда по две буханки в руки, брусок мыла, пачка соли, упаковка спичек, махорка... Лаврового листа – хоть мешок!

– А лаврушка сейчас к чему? – прыснула в кулак бережно укладывающая в наволочку хлебные кирпичики старушка. – Может, еще хрена предложишь?

– А этот овощ тебе сейчас зачем?

– Как зачем? Снег мариновать. Для этого дела лаврушка и хрен в самый раз. Приходи, сынок, угощаться.

Маленькая очередь поощрительно засмеялась. Николай Николаевич пошарил по карманам, пересчитал мятые бумажки и купил пару хлебов, мыло и спички. На большее не хватило. Уже отоварившаяся Верушка переглянулась с Пашенькой – это ж надо, у учителя денег нет. И выручить нечем.

– Вы, молодой человек, от нас – обратно в район, или еще куда? – тронул водителя за рукав Алпатыев.

– Обратно. А вам зачем знать?

– Хочу попросить вас подвезти меня, сделайте одолжение. С весны пенсию только один раз вот так, с автолавкой, переслали. Жить невольно стало.

Люди прислушались, поддержали.

– Возьми, земляк. Он учитель наш, фронтовик, инвалид, как видишь. Совсем одинокий. Помогите, чего тебе стоит!..

– Ну, если так...

Услышав этот разговор загорелась и Верушка.

– Николай Николаевич, и меня! И меня возьмите! Мне очень, очень нужно. Я сейчас все объясню. Летом я купила там пуховик себе. Ну, купила и купила. А теперь как глянула – мамочка родная!..

Водитель-продавец сдался.

– Дорогой объяснишь, егоза! Только быстро мне, одна нога здесь, другая там! – И учитель, как и должно говорить со старшими, вежливо и предупредительно: – Я понял. В районе вам документы потребуются, сходите за ними. Я подожду.

Потом, уже в райцентре, Верушка досказала свою историю. Оказывается, после смерти матери, у нее оказалось сколько-то скопленных ею для обновок денег. Вот и решила девушка купить себе что-нибудь теплое для зимы. Летом всяко перетерпеть можно, в городах вон даже специально рвань таскают: мода! А вот зиму, да еще на Урале, без чего-то капитального, надежного не протянешь.

В центральном супермаркете Зеленодольска ей приглянулся китайский пуховичек. Такой яркий, с такими милыми молниями, легкий. И теплый. Примерила, купила. Денег еще и на валенки осталось, купила и их. После таких удачных приобретений, довольная собой и всем миром, решила прогуляться по бесконечным торговым залам, на ее удивление, почти пустым, несмотря на праздничный день.

Вот идет она из зала в зал, с этажа на этаж, любитесь огромными зеркалами, обилием всевозможных товаров, прижимает к груди ладно упакованный тючок, – как мало нужно человеку для счастья!

Мимо нее, косо взглянув на праздношатающуюся девушку, прошли две посетительницы, по всему – мать и уже взрослая дочь. Тоже за счастьем, подумала Верушка снисходительно, проводив сожалеющим взглядом деревенского ребенка этих серьезных городских дам.

Да, она могла позволить себе быть к ним снисходительной, так как уже нашла свое счастье, а им это еще лишь предстояло. Однако, найдут ли? Так сразу и легко, как она? Ой ли!.. А впрочем, она совсем не против...

Увидев, как дамы вошли в зал «мягкое золото», заинтригованная названием Верушка последовала за ними. Сообразив себя обманутой, ведь вместо золотого великолепия перед ней оказались разного рода, цвета и фасонов изделия из меха. Она разочарованно пожала плечами. Да, эти дорожные шубы, шубки, куртки ее совсем не интересовали, но она все же прошлась по всему залу и в самом его конце присела на мягкий диванчик отдохнуть: устала.

Пока она представляла себе, как будет выглядеть зимой в своих обновках, как бы радовалось мать, увидев ее такой, как, будь жива, хвалила бы за удачный выбор, городские дамы тоже подошли сюда и остановились возле полок с горками причудливых меховых женских шапок. К этому времени они уже успели что-то приобрести, в руках у младшей был точно такой же тючок, который теперь мешал ей выбирать шапку.

Увидев на диванчике отдыхающую девушку, она рядом с ее покупкой положила и свою, кивнула ей, пригляди, мол, и вернулась к полкам, где перед большим зеркалом принялась примерять одну шапку за другой. Шапки были разные, они перебрали все, но ни одну так и не облюбовали. Не задерживаясь больше, взяли с диванчика один из свертков и скорым шагом направились к выходу. Верушка из любопытства тоже примерила на себе два или три головных убора, фыркнула, посмотрев на ценники, и заторопилась на улицу.

Не без труда добравшись домой, голодная, усталая только и прилегла на кровать – за окном послышались возбужденные голоса и крики. Выскочила – неподалеку что-то горело. Ну, ясно – пожар. Схватила пустое ведро и вместе со всеми – тушить. Когда вернулась, сил совсем не осталось, даже для радости, сунула покупки в шкаф, а там и забыла о них. И вот в начале зимы вспомнила, развязала шпагатные тесемки, развернула упаковку и обомлела: разлюбезного ее пуховичка с милыми молниями не было. Новеньких валенок – тоже. Вместо них – большая, совсем не по ее росту шуба из темного, лоснящегося, тающего под ладонями меха.

Оторопевшая и оскорбленная такой подменой, Верушка расплакалась. Потом догадалась, как это могло произойти, не на шутку испугалась, ведь люди могут подумать, что подмену она устроила специально, чтобы завладеть этой дорогой, но совсем не нужной ей вещью. А ей нужен только с в о й пуховичок. Пусть дешевый, такой, как у многих, но с в о й. Как вернуть его? Где найти тех городских женщин, которые, поди, и в милицию уже заявили о своей дорогой пропаже? И ее уже ищут...

Вслушал Николай Николаевич эту забавную историю и покачал головой. Ну, Верушка, ну, святая душа! Другая бы на ее месте не растерялась, продала бы эту чудом свалившуюся на нее шубу и оделась с ног до головы. Одной ее на десять таких пуховичков хватило бы. Но нет корысти в ее юной душе, чужого ей не надо. Люди добрые, не перевелись вы еще на белом свете! Хорошо-то как!..

Обговорили сложившуюся ситуацию и решили начать с райсобеса, или как он теперь называется, – разузнать о пенсии. Потом – на почту: вдруг работает, вдруг

письмо ему. А оттуда – в магазин, вернуть эту злосчастную шубу и, если повезет, разузнать что-нибудь о ее истинных владельцах.

Так и сделали. Пенсии пока никто официально не отменял, тем более ветеранам войны. Просто у казны не было денег, да и с доставкой их стало теперь сложно, особенно на селе. Но в данном конкретном случае...

В данном конкретном случае выяснилось, что Николай Николаевич Алпатьев, ветеран войны, житель села Старые Пали, не получил причитающих ему сумм за три месяца. Плохо это, стыдно, что и говорить, но сейчас в наличии таких денег нет, а вот за два месяца... За два месяца все-таки нашлись, а это – целый ворох пестрых цветных бумажек, еле в карман затолкал.

Он уже чувствовал себя счастливым, но сердобольная кассирша одним своим долгим сочувственным вздохом враз охладила его радость.

– Сразу же постарайтесь потратить, иначе совсем «сгорят». Закупите продуктов – круп, макарон, муки, жиров... У нас и «ножки Буша» продаются, будет у вас бульон. Новая выдача когда еще будет, нужно дожиться...

Дожить, выжить – эти слова были тогда в ходу. Как во время войны: вот, мол, доживем... вот выживем... Словно большую бурную реку переплыть: осилил, не потонул, выжил, а что там, на том берегу?

На почтамте оказался перерыв, и они, не теряя времени, заторопились в супермаркет. Там помнили, о странном летнем случае в «Мягком золоте», позвдыхали, поудивлялись, но ничем особенно помочь не могли, хотя семью ту знали.

– Они недавно в область от нас переехали... – «Область» на местном наречии то же, что и «областной центр».

– Как их там найти?

– Так у Альбины Осиповны у нас закадычная подружка осталась, – спохватилась гут заведующая соседним сектором. – Уж по телефону они, надо думать, частенько беседуют. Вот позвоним ей, а потом...

Так и сделали: позвонили, связались, записали адрес, сели в электричку и через два часа уже звонили в железную дверь подъезда.

Кончилась эта «шубная» история совсем неожиданным образом и вопреки всем типичным жизненным сюжетам: действующие лица ее наконец встретились, обменялись пропавшими было покупками и веселые, довольные друг другом принялись за чаепитие.

Но и это еще не все. После чая, растроганная до слез Альбина Осиповна предложила Верушке-Вере службу в ее доме – горничной. Никаких сомнений-возражений и слушать не хотела. Ничего о себе рассказывать не надо, довольно того, что она увидела в девушке сама.

В обратной электричке Николай Николаевич возвращался один. Еще успел получить на почтамте скопившуюся корреспонденцию и порадоваться: письма были от Зои, с Украины. В одном она сообщала, что похоронила мать и собирается домой. А в старой, так и не доставленной ему телеграмме незнакомые люди приглашали его на похороны жены...

Где провел ночь, как на следующий день добрался к себе в Старые Пали, он не помнил.

V

Весь прошлый день и всю ночь, то затихая, то начиная снова свой белый танец, шел снег. Семен Петрович Петухов нервничал: матушка его Матрена Тимофеевна

еще есте оставались в деревне. В последний свой приезд туда он по-настоящему и не поохотился, все уговаривал ее хоть на зиму переехать к нему в город.

Стара уже матушка, слаба, больна всеми старческими болезнями. Как она там перезимует одна? Зимой к ней он уже не пробьется. Пропадет ведь старая без людской помощи. Правда, иногда ее навещал отец Сергея Алпатьева, но тот сам уже сдал настолько, что через новую зиму может и не перетянуть.

Жена Варвара тоже подгоняла – чего, мол, ждешь, гони за ней пока дорогу окончательно не замело. Долго не разговаривай, заверни в тулуп – и в машину. Старый что дитя, мало ли чего хочет. А то потом локти кусать будешь, случись чего. А случиться может, как уже случалось не раз. Приезжают весной, а в доме вместо живого человека ледяная сосулька. Торопись, Семушка, торопись! Заодно, может, и учителя угомонишь...

И Семен Петрович решил, из запасной канистры залил бак до горлышка, дал двигателю хорошо прогреться, сунул в багажник совковую лопату – и вперед... к труду и обороне.

К этому «труду» и «обороне» он привык давно, когда еще пели «вперед, заре навстречу», а с годами о песне совсем позабыл. Да и какая теперь «заря»? Была, и навстречу ей шла вся страна, но то ли сама оказалась слабосильной и зачахла, то ли люди ослепли и сбились с пути. А «труд» и «оборона» для России как-то привычнее. Вся ее история умещается в паре этих простых и понятных каждому слов.

А снег все шел и шел. Хорошо еще, что было безветренно, а то бы такие сувои на дорогу намело – без бульдозера не обойтись. Снег легкий, рыхлый, тяжелая «Нива» легко продавливает его своими ребристыми шинами до самой заледеневшей земли и знай себе катится под уклон – к далеким озерам и громоздящимся за ними горным хребтом.

Туда, под уклон, легко, а как обратно? – засуетилась было тревожная мысль, но скоро улеглась: в свою испытанную-переиспытанную «Нивушку» он верил. Это тебе не какая-нибудь форсистая городская «Калина-малина» или пучеглазая манерная иномарочка. Ее сработали надежные руки русских мужиков. Для русских дорог, между прочим. Прорвемся! А то нет?

И прорвался-таки Семен Петрович в свои тихие и почти бездыханные теперь Старые Пали! Подкатить к самому дому поопасся, оставил машину на последнем надежном взлобке и, уже заранее волнуясь, поднялся на крыльцо. На свежем снегу – ни следочка. Ни на крыльце, ни на подворье. Не то что человеческого, – птичьего крестика не видать.

Большой крепкий еще дом, казалось, был пуст и давно покинут. Рассохшиеся и промерзшие половицы вскрикивали и всхлипывали под его ногами. Стылый сумрак помещения лишь слегка разреживался серыми пятнами замерзших окон. От всего этого ему тоже стало холодно и жутко.

Вдруг из родительской спальни послышался живой, еле уловимый шорох. Не подавая голоса, он прошел туда. Это мать его из последних силенок в поисках тепла зарывалась в горку одеял и подушек. Живая...

И тут случилось то, что так настойчиво советовала ему Варвара. Он не стал приступать к ней с разговорами и уговорами, сгреб вместе с ее постелью, как ребенка, прижал к груди и выбежал из дома. Когда укладывал на задние сиденья машины, мимолетно удивился: какая же она легкая и маленькая, действительно – как ребенок. Даже голоса не подает, будто спит. Или думает, будто это происходит с ней во сне. Вот и ладно, дома в тепле отойдет, придет в себя. Может, и банить его не станет. А и станет – тоже ладно, лишь бы жила...

Ну, «Нивушка», ну, умница, теперь все зависит от тебя! Машина, за долгие годы научившаяся понимать не только каждое его слово, но и желание, жест, плавно тронулась на разворот. Тронулась привычно, уверенно, но вдруг со скрипом качнулась, дернулась и осела одним колесом. Семен Петрович сначала удивился, потом решительно нажал на педаль газа, – она подергалась, пофыркала и опять затихла.

Пришлось Семену Петровичу достать лопату и заняться неизбежной в таких случаях работой. Действуя напористо и умело, он вскоре выяснил, что его любимая «Нивушка» угодила одним колесом в полуобвалившуюся траншею, когда-то проложенную для будущего газопровода. Газопровод однако не состоялся, денег для него не нашлось, трубы растащили, а траншея, никому теперь не нужная, стала осыпаться и зарастать бурьяном. Что же теперь делать?

– Ага, попался? Не отпускает родная земляца бывшего крестьянина? Поймала, океанного!

Поднял голову – Талалай.

– Чего зубы скалишь? Помог бы лучше.

– Могу помочь, могу и не дергаться. Мы с тобой теперь чужие: я земли своей, как видишь, не предал.

– Так не один я, пойми. Мать к себе забираю. Чуть не замерзла тут.

– Ну вот, о матери вспомнил! Ладно хоть не забыл, часто навещаешь. Не то что дружок твой Алпатьев. Приедет иной раз, настреляет уток – и опять в свой город. Я все вижу.

Помолчали, покурили, походили вокруг машины.

– Ну, я щас...

Ничего больше не говоря, Талалай выломал из петуховского забора крепкую лесину и принялся укладывать под колеса.

– Сдай малость назад. Только не рви. Так, так... А теперь на малом газу вперед. Вот и вся твоя мировая проблема! Ехай!

Не обращая больше внимания на Петухова, не слушая его благодарностей, гордо вскинув голову, Талалай степенно зашагал своим путем.

Талалай, он и есть Талалай! Он всякий бывает, и никогда не знаешь, чего от него ждать сегодня, чего завтра. Шумный, вздорный, беспокойный мужик. Одним словом – Та-ла-лай. Однако, спасибо: помог.

Снег все шел, щедро расточая свою белую, лебединую красоту; машина мягко катилась по старой, еще заметной колее. Семен Петрович думал. Этот Талалай (прозванный так по фамилии Талалаев, оттого что был большим любителем «ла-ла-лакать» без меры и по всякому поводу) не выходил из головы. На общем собрании, где избиралось новое правление колхоза и его председатель, самым непримиримым и крикливым был он, Степка Талалай. Часто один против всех.

Как раз тогда, дабы отвлечь население от экономических трудностей, сбить недовольство масс, а заодно и продемонстрировать западным «партнерам» свою приверженность демократии и правам человека, власти кинули клич: незаменимых начальников не бывает, нет – назначениям, даешь выбор народа! На радость таким талалаям как Степка и его бесшабашные дружки, для эдакого веселого, разудалого окончательного развала всего и вся.

Собрание продлилось несколько дней и кончилось тем, что все охрипли, перепились, передрались, но зато избрали новое правление с диковинным годичным испытательным сроком. Новым председателем утвердили инженера Сергея Алпатьева, а отстраненному, толковому хозяйственнику и порядочному человеку, пригрозили прокуратурой. Тот не стерпел незаслуженного оскорбления и пустил себе пулю в висок.

Но это было лишь начало. Критики села словно с цепи сорвались, и у каждого на языке одни и те же безумно-убийственные слова-приговоры: деревня – чугунная гиля на шее России, деревня – черная дыра для ее экономики, деревня – гулаг, что пострашнее сталинского. Ну а крестьянин наш, само собой, – пьяница, бездельник, тьма несусветная, нерадивая скотина.

Тогда еще в каждом доме гоготало радио, орали, кощунствовали и заголялись телящички, приходили из столицы умные газеты – глотай, мужик, впитывай, требуй! Чего? Как чего: свободы, независимости, земли в свою священную частную собственность, становись уважаемым и благоденствующим фермером. Чтоб все было к а к у н и х!

Окрепшее за последние десятилетия село залихорадило. Привыкшие быть послушными и исполнительными местные начальники шарахались из одной крайности в другую, кого-то охватила паника, а кто-то втихомолку уже присматривался, что в темной воде этой сумятицы пожирнее и поближе к их загребушим рукам.

Это – на селе. В городах, измученных бесконечной необъяснимой бескормицей, в городах, которые по природе своей не пахнут, не жнут, мясо не растят, молока не добывают, люди оказались особенно падкими на все эти «откровения» и тоже требовали, клеймили, негодовали. И редко кто задумывался, откуда это вдруг появились всевозможные продукты, заполнившие полки старых и мигом выстроенных новых шопов, маркетов и субмаркетов. Народ повалил в них как не ходил на выставки. И как тут усидеть дома, если можно бесплатно посмотреть на колбасы тридцати сортов, полюбоваться всевозможными овощами и фруктами, потаращить глаза на настоящую «царскую» рыбу, отнюдь не кабачковую икру, услышать из-за прилавка воркующий голосок: «Не теснитесь, господа. Время очередей прошло. Теперь так будет всегда. К а к у н и х».

И лишь немногие будут знать подлинную суть происходящего, воочию, а не по книжкам, увидят, как «золотой миллиард» приобретает для своего процветания новые рынки и сферы влияния, ставит на колени целые страны и континенты, без единого выстрела (ну да что вы, все это давно устарело, мы же демократы!) становится хозяином мира. Их трезвые предостерегающие голоса будут заглушены трескотней о «новом мышлении» и «новом мировом порядке», а «несоответствующие» и «ретроградские» точки зрения осмеяны и растоптаны.

Подготовив таким образом для своих «реформ» необходимую почву, власти приняли «судьбоносное» решение – распустить колхозы, так сказать, одним махом избавить страну от чугунной гири, завалить черную дыру, навсегда покончить с позорным гулагом.

Семен Петрович, как раз в эти дни находился в райцентре по вопросам подготовки техники к предстоящим сельхозработам. Когда все, что касалось запасных частей и солярки, кое-как утряслось, он собрал своих всегда помогавших ему мужиков на вечернюю посиделку и едва не подавился первым стаканом.

– Не может быть... Не может того быть! Это ж, братцы, это ж знаете что, это... – Путающиеся мысли и слова мешали говорить.

– Нынче в нашем тридесятном царстве, все, брат, может быть, – поднялся товарищ из «Сельхозтехники». – Выпьем за упокой... Земля нам пухом... Не их хороним – себя...

Была уже ночь, когда он примчался из Зеленодольска и сразу – к председателю, Алпатьеву. Так, мол, и так, уже не слухи, а настоящее правительственное решение, свершившийся факт.

Сергей метнулся в прихожую, ливанул на голову ковш холодной воды и затряс мокрыми волосами.

– Чемневаюсь, Петуня. Того не может быть. Вот совхозы, как государственные аграрные предприятия, ликвидировать власть может. Там закон на ее стороне. Она их породила, она и убить вправе. А колхозы – извини-подвинься!.. Это ж добровольные коллективные объединения крестьян. Добровольные, то есть те же кооперативы, артели, общины! В каждом хозяйстве – свой устав, свое имущество... и долги тоже свои, а не государственные...

Утром, чуть свет, он укатил в райцентр и вернулся только через неделю – обросший, осунувшийся, злой. Тут же вызвал к себе в кабинет его, Петухова, главбуха Зинаиду (жену, то есть), заведующих фермами, крикнул секретарше, что все разъехались, никого тут нет, отключил телефоны и запер дверь.

– Я собрал вас вот по какому случаю. Дела обернулись так, что... Словом, нужно срочно спасти имущество колхоза. Бухгалтерию прошу сегодня же дать мне полные сведения о наших долгах. Полные, без всяких хитростей, не для начальства, а для себя же. Семена Петровича – все о технике: состояние, количество, возможные продажные цены... Гусиная ферма наша на отшибе, не всякий узнает... Но тоже: сколько голов, цены на рынке... Молочно-товарная: количество породистых (дойных коров и телочек от них), старое стадо, молодняк... И еще раз: долги, долги, долги! Ничего что их много. Это даже хорошо. Действуем быстро, дружно, с пониманием. И, разумеется, негласно. Придет время, вынесем на правление. Петухова прошу задержаться... Все пока.

От него он не таился.

– Готовь технику к дальней дороге. Особенно хлопотно будет с комбайнами. В своих мастерских оставим лишь изношенное старье. Для любопытных – на ремонт, мол, на металлолом. В счет долгов...

К его возвращению Варвара истопила баню, приготовила для свекрови давно предназначенную ей комнату, напекла блинов. От тепла и чая с медом старушка ожила, оттаяла, даже похвалила красивые занавески на окнах. Сын бережно перенес ее на мягкую кровать, и она тут же тихо уснула.

Самому ему было не до сна. Вспомнившееся в дороге мутило душу, скреблось в сердце. Чего-то было смутно жалко. Жалко и тайно стыдно.

VI

После долгих лютых морозов пришли бураны. Налетавшие заряды ветра сотрясали весь дом, ломались в дверь, длинными белыми хлыстами секли жалобно звеневшие окна.

Николай Николаевич так увлекся своим делом, что почти не замечал их, лишь иногда зябко ежился и с тревогой оглядывался на кровать, где под кучей одеял слабо угадывалась неподвижная человеческая фигура.

Там лежал и «лечился теплом» простуженный Пашенька. Две недели назад они хоронили его преставившуюся бабаню, и паренек в своей худенькой одежонке крепко продрог. Теперь учитель не отпускал его из своего дома, поил горьким травяным чаем, заставлял дышать горячим паром над чугуном сварившейся картошки и постоянно держал в постели.

Николай Николаевич прислушался – нет, не кашляет, дыхание стало мягче и глубже, значит, на поправку мужичок пошел, молодец. Одиноким старым учителем за эти месяцы привязался к нему, как к родному. Вот теперь решил перебрать свой гардероб, чтобы было во что одеть его по сезону. Открыл все шкафы, освободил в прихожей и на веранде обе вешалки, разложил на полу и удивленно покачал головой – гора!

– Это же надо! И зачем мне одному нужно было все это тащить в дом? Столько всякого тряпья! Ну, Зоя, ну, Зайка-Сойка, хлопотуша моя. Тебе всегда так хотелось видеть меня «в полном порядке»... Тут не на одну, на три жизни хватило бы.

Впрочем, «тряпьем» можно было назвать лишь рабочую одежду, да и та, теплая и прочная, выглядела еще хоть куда. Стеганные фуфайки, куртки на вате и овчине, местами потертые, но не знающие износа брюки, пяток свитеров, десятки всех цветов и фасонов сорочек, летнее и зимнее белье.

Все, кроме свитеров, магазинное, уже, может, и вышедшее из моды, но разве сейчас до того? Вот свитеры Зоя не покупала, а вязала ему сама. Сначала добывала где-то козий пух, потом по вечерам сидела в своем любимом уголке, глядела, как он за столом проверяет ученические тетрадки, и сноровисто пощелкивала спицами... Как же им было хорошо!

После беды, случившейся с его первой семьей, думалось, что другой в его жизни не будет, что после Надеи-Надежды-Наденьки ни на какую другую девушку он и не поглядит.

Как задумал еще в госпитале, так и сделал: по пути домой зашел в зеленодольский педтехникум. Там ему сказали, что фронтовика зачислят даже без вступительных экзаменов, и порадовались, что в школу придет учитель-мужчина; в школах-де одни женщины, а ребятам так необходимо присутствие и мужчины. Тем более что не в каждую семью после такой ужасной войны вернулся отец или старший брат.

Потом, уже работая, заочно окончил учительский институт, еще больше прикипел к литературе и истории. В школе постоянно не хватало дипломированных учителей, поэтому часто приходилось вести то один предмет, то другой, а то и оба сразу, и он не роптал, ведь оба были любимы, ребятам было с ним интересно, а что еще учителю надо?

Как появилась в их семилетке невысокая, быстрая, вся по-весеннему светлая учительница пения Зоя Ивановна, он теперь уже не помнил. Не заметил, наверное. Но когда в школьных классах и в сельском клубе зазвучали песни давних и военных лет, заметил и он. После узнал, что росла и воспитывалась в детском доме, еще один кровоточащий осколочек войны. А как обрадовалась, когда узнала, что мать ее нашлась! Николай Николаевич отпустил ее с радостью, надеясь, что вернутся вдвоем. Очень надеялся. И все ждал, ждал...

Он, сколько помнил себя, никогда не жаловался на судьбу, но тут она поступила с ним незаслуженно жестоко. За всю свою жизнь у него были лишь две женщины, которых он любил и с которыми был счастлив. Где осталась могила первой, он знал, хорошо помнил ее в окружении строгих украинских мальв. О другой не знал ничего, кроме того, что это где-то в Харьковской области. Из ее письма, полученного через несколько месяцев, он узнал, также что маму свою она опять потеряла. Теперь уже навсегда. Но что произошло с ней самой? Краткая телеграмма, не доставленная ему вовремя, ничего не объясняла. И даже где именно похоронена, неизвестно. Упросить сына съездить летом? Ведь это мать его. Неужто откажет?

Выбрав из лежавших перед ним свитеров последний, самый любимый, почти не ношенный, Николай Николаевич надел его прямо поверх рубахи и замер, чувствуя, как живительное тепло охватило его плечи, спину, грудь и потекло прямо в сердце. На миг ему почудилось, что это Зоя, что это она только что вернулась, обняла и вот-вот, как обычно, скажет: «Извини, запелись... Заждался, родной?»

Большого Пашеньку Николай Николаевич выхаживал еще недели две. Теперь он был одет во все чистое, теплое – от меховой шапки до толстых, теплых, тоже вязанных Зоей Ивановной носков и валенок, оставшихся еще от Сережи.

Вот бы еще подкормить паренька, но кроме картошки и лука ничего не осталось. Хлеба нет с самой осени, последние макароны доели к Новому году, о подсолнечном масле напоминает лишь оставшаяся красивая пластиковая бутылка.

– Ничего, Николай Николаевич, перебьемся. Лед на озерах еще крепкий, – успокаивал учителя Пашенька, – а рыбачить я малость умею. Вот только крючки подберу, пешню отыщу. И места знаю...

Да, пока лед крепкий. И, пока он крепкий, надо бы запастись рыбой заодно и на весну. А то три года назад отправилась с голодухи мать Верушки на Лебяжье да в календарь не заглянула, у погоды не спросилась, – вот и ушла под лед. Дочь осиротила, доброе озеро ославила. Всей деревней долго о бедолаге тужили...

После мартовских буранов снарядились на промысел. Николай Николаевич с его больными ногами и «стреляющей» поясницей – на старых широченных охотничьих лыжах, Пашенька – короткими перебежками по заледенелым гребням сугробов, тоже все еще крепких после знатных январских и февральских холодов.

Вышли на нужное место; продолбили себе по лунке.

– Ну, Господи, благослови!..

Пашенька верующий, Господь его, наверное, услышал и повелел рыбе идти к нему и ловиться. Вот она и пошла, прямо в очередь встала к его крючкам. Не успевает снимать. Оглянуться в сторону учителя некогда, – как у него там?

А никак у него! Учитель неверующий, благословения у Господа не испросил, тот о нем и не радеет. Да и лунку сделал не там, где указано было, а на свой пригляд, по своему уму. Не подумал, что на каждое дело нужен особый, как раз к этому делу приложимый ум. Который от опыта и, может, тоже от Бога...

Устав без толку пялиться в пустую темную дыру, Николай Николаевич решил пройтись вдоль берега. Пусть, мол, рыба успокоится, а то, похоже, распугал ее своей пешней.

И вдруг присел: через все озеро в здешний раkitник пролегла ровненькая неглубокая тропинка. А следы-то не человеческие! Наклонился еще ниже: волчьи!

Вот так всегда – где разор, неурядица, бескормица, там непременно появляются эти серые разбойники. Похоже, шли уверенно, бойко, целой стаей – след в след. По кустам, по задворкам – в полупустую деревню. Интересно, к кому в гости, в чей хлев?

Позвал Пашеньку: погляди, мол.

Тот проследил след взглядом и почти уверенно определил:

– От Скита явились. К Талалаю, небось.

– А что, Талалаев какую-то живность еще держит?

– Телку, овечек и куриц много. Он хошь и крикун, а мужик-работяга. Особенно в своем дворе. Не то?

– То, Пашенька, то. Глаз, смотрю, у тебя на людей точный.

– Так это ж Талалай, – смутился парень. – Однако я пойду – рыба валом валит, грех божьего дара не взять...

Николай Николаевич поглядел, как мелькают его руки над лункой, как рядом растет серебристая рыбная горка, хмыкнул, удивленно покрутил головой и вернулся на свое место.

– Ну, Господи... ты ведь не жадный, пособи.

Сказал как бы в шутку, подражая или пародируя Пашеньку, и что бы вы думали – пошла рыба и у него! Да еще как пошла! И всякая верткая мелочь, и длинные, как поленья дров, щуки. Одна даже с трепещущим линьком в зубах, – не иначе как озерная хищница-волчица, водный зверь!

Домой рыбаки вернулись отягощенные неожиданной желанной ношей, довольные. Тут же принялись готовить уху. Пока готовили, строили планы на завтрашний

день: как вернуться к своим щедрым лункам, как «надергают» еще больше, как наморозят. Николай Николаевич заметно повеселел, а Пашенька ликовал так, что едва не приплясывал. После долгих месяцев полуголодного существования к ним снова вернулась радость жизни, ощущение ее полноты.

За обедом Николай Николаевич спросил:

– А что, Пашенька, раз ты так сильно и чисто веруешь, не перенести ли тебе сюда и иконы твоей бабани? Что им одним прозябать в пустом холодном доме?

Паренек весь просиял.

– Господи, как бы это было хорошо! Лишь бы вас они не смущали. А я – мигом!..

Пока Пашенька отсутствовал, Николай Николаевич наносил из дровяника полешек, чтобы согреть дом на ночь, и прилегал отдохнуть с книгой в руках. Книга была старая, из самых любимых, которые он перечитывал раз за разом и все никак не мог до конца насладиться. Он мог узнать ее только по одной ей присущему запаху, по шершавому матерчатому переплету, по приятно весомой тяжести, которую навсегда запомнили чуткие руки. Тургенев...

В доме, как всегда зимой, царил серый сумрак, изреживавшийся лишь у самых окон. Читать без электрического света было даже в его «толстых» очках невозможно. Но электричества не было. Не было и керосина, чтобы засветить настольную лампу со стеклянным пузырем. Посетовав на все вместе, он пригрелся под овчиным тулупом и незаметно задремал.

Проснулся он не оттого, что хлопнула дверь или заскрипели половицы, а оттого, что в комнате кто-то тихо плакал. Приподнявшись, Николай Николаевич увидел Пашеньку. Тот сидел у порога и, уткнувшись лицом в скомканную шапку, содрогался всем своим худым телом.

– Что произошло? Кто тебя обидел? – спросил учитель.

– Там их уже нет, – всхлипывал Пашуня, – сняли, унесли, своровали...

– Иконы похитили? Обе?.. Кто?..

– Хитники, кто же еще! Души в них нет...

– А что еще взяли?

– Ничего... Нечего брать-то, голь у нас одна...

– Барыги, значит!

– Святотатцы!..

– Новая разновидность воря. Ин-тел-лек-ту-алы!..

Николай Николаевич не успел как следует распалиться по поводу этой разновидности, в избу буквально влетел Талалай. Ватник нараспашку, шарф одним концом на груди, другим на спине, глаза бешеные.

– Слыхали? Это ж надо, едри их в корень. Одним махом: и поминай как звали!.. А? А то нет!..

Ну вот, и у этих иконы вынесли, решил было учитель и удивленно уставился на неожиданного гостя. В чем, в чем, а уж в особой религиозности того, бывшего партийца, заподозрить было трудно. Впрочем, жена, теща... почему бы и нет? Ради мира в семье не то что икону, кочергу в переднем углу повесишь.

– Нет, вы слышали? Вы слышали? – в свою очередь удивился и Талалай. Как будто здесь каждый день такое случается. Как будто произошедшее на его подворье какой-нибудь пустяк. А разве пустяк – две порезанные овцы? А разве пустяк – зарезанный теленок? И никто не слышал? Полдня с ночи прошло – и никто? Никакого тебе сочувствия и негодования тоже.

– Волки... Скот у меня порезали... Прямо в хлеву...

Обессиленный и опустошенный мужик тяжело плюхнулся на лавку и сник. Николай Николаевич, не вдруг отойдя от шока, стал расспрашивать, что и как. Ока-

залось, что на рассвете его разбудило тревожное жужье Каурого. Выскочил – вроде бы ничего особенного, лишь за банькой – огоньки: волки пируют! Побежал за ружьем; ружье есть, а стрелять нечем. Что делать? Сунул ноги в пимы, шубу на плечи, вилы в руки и... нет, вперед не получилось. Все тело судороги свели. То ли от ужаса, то ли от мороза. А когда один из разбойников вдруг залаял на него по-собачьи, подумал, что все это лишь сон. Как пришел так и уйдет: сон же. Вот кончится – и он опять окажется в своей спальне, под мягким одеялом, у горячего бока жены.

Пока «сон» длился, волки пировали, не обращая на него никакого внимания. Когда он случайно пошевелил вилами, тот, что умел лаять, оскалил белые зубы и устрашающе зарычал. И тогда Талалай заметил на нем широкий кожаный ошейник. Как у домашнего пса. Ну, не сон ли?

Насытившись и прихватив про запас по куску свежего парного мяса, волки легкой трусой удалились в сторону озер. Теленка не тронули, а лишь сняли пробу. Наверное, решили прийти за ним когда проголодаются следующей ночью.

– А ты, друг мой, не ошибся с тем ошейником? И в самом ли деле волк не только рычал, но и лаял? Может, все-таки на самом деле только рычал? А лаял, так сказать, во сне?

Если Талалай и Пашеньку этот лающий волк удивил и изумил своей фантастической невозможностью, то интерес Николая Николаевича имел под собой совершенно реальную почву. Когда-то в одно из своих нечастых посещений сын привез ему в подарок рыженького щеночка, самочку. Сказал, что «из хорошей семьи», станет умной и сильной овчаркой, надежной подружкой в его деревенском одиночестве. Три года назад она исчезла со двора. Потужил, погоревал старый учитель и смирился, убедив себя в том, что попала в добрые руки. Не иначе: ведь такую собаку-овчарку не всякий сможет взять к себе в дом. И вдруг – собака в стае волков?! Его красотуля Машка!.. Его подружка...

На первых порах Талалай совсем запамятовал – зачем прибег? Не ради же оповещения о своей беде. Не затем же, чтобы вместе поудивляться объявившемуся лающему волку. Лишь на пороге вспомнил:

– Так я, Николай Николаевич, чего хотел... Не сыщется ли в твоих коробках хоть с десятком стоящих патронов? С дробью не надо, это ж не белка, не глухарь какой, их у меня готовеньких много. А вот на волка, под мой калибр. Глянь, выручай, воротятся же мясоеды.

– Вернутся непременно, это верно. Тем более что такие приткие да разумные, что даже по-собачьи лают, – не удержался, усмехнулся учитель. – Сам я охоту не люблю, на войне настрелялся, а вот глянём, может, от Сергея что завалалось. Вот уж кто по лесам бегать любил!.. Ну вот, так и есть! Держи, крепи свою оборону... А потребуемся – зови, на съедение волкам не отдадим!..

(Окончание следует)